

О рожденьи
И
Короля

Марк
Гаврилов



Марк Гаврилов
Похождения Козерога

«Издательские решения»

Гаврилов М.

Похождения Козерога / М. Гаврилов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-747451-5

Вместе с Козерогом читателю предстоит встретиться с людьми, определившими судьбу автора и теми, кто повлиял на развитие литературы и искусства. Вы узнаете, кто такая Хана — пионерка и хулиганка, пообщаетесь вместе с автором с Василием Шукшиным, Владимиром Высоцким, Михаилом Ульяновым, Ириной Бугримовой, Марисом Лиепой... Узнаете о чернобыльской трагедии глазами очевидца, побываете в Лаосе и на острове Кунашир. И не раз улыбнетесь байкам, легендам, анекдотическим ситуациям.

ISBN 978-5-44-747451-5

© Гаврилов М.
© Издательские решения

Содержание

Гроза Марьиной рощи в роли Ленского	6
Хана Гурвич – пионерка и хулиганка	13
Памир – крыша мира	18
Волжане мы, но не из бурлаков	23
Высоковские лакомства	27
Война. Эвакуация	30
Раменское	35
«Прокурорчик» превращается в Марёку	39
Фронтной подарок дяди Семёна	42
Прокурорша	47
Семейство Коганов	50
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Похождения Козерога

Марк Гаврилов

© Марк Гаврилов, 2016

© Анна Владимировна Пылаева, дизайн обложки, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Словари и энциклопедии на все лады расхваливают и охаивают характеры тех, кто родился под знаком зодиака Козерог. Если им верить, то портрет мой, в «козероговском» ракурсе, может получиться, прямо скажем, неприглядным. И скареден, и подавляет окружающих, и непомерно тщеславен, и, вообще, по натуре – диктатор. Но эти записки не столько о себе, любимом, а главным образом о тех, кто повстречался мне на жизненном пути, длиной в 80 лет. А каков получился я – судить не мне.

Как заманчиво и страшно начинать рассказ о себе, о своей жизни среди других людей. Но рано или поздно, к этому нужно приступить. Приступаю.

В новогоднюю ночь пограничник Иван Гаврилов нес на руках с заставы через заснеженное поле нас двоих – жену Аню и меня – сына. Впрочем, явился я на свет белый позже, в 6 часов утра 1-го января 1936 года. И был младенец, надо полагать, под хмельком, ибо молодая мамаша на новогоднем балу на погранзаставе пригубила шампанского.

Теперь, видимо, нужно пояснить, как сложилась эта, не совсем обычная для того времени, пара. Он: Ванька-сорванец, в недавнем прошлом гроза московской Марьиной Рощи, а ныне большевик-пограничник, русопет. Она – Хана, единственная дочь-красавица из большого патриархального еврейского семейства, обитающего в приграничном местечке белорусского городка Койданово. Хана, ставшая Анной, выйдя за русского Ивана.

Гроза Марьиной рощи в роли Ленского

Иван с детства слыл отчаянным, безрассудным огольцом. Ещё в сопливом возрасте, на спор, полез на высоченное дерево, сорвался, весь ободрался, и самое главное, сучком распорол кончик носа напополам. В таком виде он убоился появиться на глаза родителей, уверен был – выпорют. А насилия над собой он не терпел. Однажды его, совсем кроху, за какую-то провинность поставили в угол, так он сбежал из дома. Еле нашли на краю Москвы.

Видно, от наследственности никуда не денешься: я, его сын, тоже в детстве от обиды на мать (назвала вруном, когда я говорил правду) сбежал из дома. Затем такой же побег (я шлёпнул его за воровские штучки) совершил мой младший братишка – Валерка.

Итак, Ванька с разорванным носом спрятался у любимой бабки-татарки. Та была ворожея и знахарка. Обвязала несчастный нос какими-то травками, а на шею повесила ожерелье из головок чеснока, и велела не снимать, пока рана не затянется. Ваня носил это ожерелье долго-долго, видно, понравился ему сей лекарский талисман, а родителям бабка запретила его снимать. Травма не изуродовала симпатичного лица, но отметинка на носу осталась на всю жизнь, если приглядеться, то можно ехидно сказать, что Иван стал чуточку смахивать на муравья. Роста он был небольшого, но весь подобранный, прямо-таки изящный. Не было той драки в округе, в которой не участвовал Ванька Гаврилов. Но – сила есть, ума не надо – это не про него, умён был не по летам. Вообще, природа не поскупилась, талантами его не обделила. Был он непревзойдённый боец «на кулачках», отменно рисовал, обладал прекрасным голосом и абсолютным слухом, пел замечательно. Подростком устроился в московский рыбный порт грузчиком. Я, по наивности, как-то обронил при отце фразу о нашем пролетарском происхождении, мол, «мои предки не стеснялись ходить в драных, рабочих робах и стоптанных башмаках». На что мой батя, усмехнувшись, отреагировал совершенно неожиданно:

– Я был грузчиком, а не оборванцем. В рабочей одежде, хоть и вполне приличной, мы на людях не появлялись. После погрузки-выгрузки принимали душ. На улицу выходили в костюмах-тройках, некоторые, и я в их числе, ещё и с тросточками. Мы очень модничали тогда, ведь зарабатывали грузчики весьма основательно. Нас считали рабочей аристократией.

Буйный, заводной характер давал себя знать. Особенно Иван любил показывать свою недюжинную силу и делать, благодаря ей, что-нибудь на спор. Так, однажды, взвалил себе на плечи мешок с сахаром (6 пудов), а поверх него пригласил залезть спорщика-оппонента, и с таким вот грузом отмерил сто шагов.

Очередной спор определил его собственную судьбу. Фланировали они как-то всей бригадой после смены по Москве. Проходили мимо Консерватории. И тут один из коллег-грузчиков возьми и брякни:

– Ванька, вон объявление висит: завтра начинается приём в Консерваторию. Слабо туда поступить?

А надо сказать, что Ваня уже слыл в своей среде артистом, он вместе с коллективом самодеятельности объездил всё Подмосковье, бывал даже и в других губерниях. Пользовался, как певец, большим успехом, особенно у женской части аудитории. Иван завёлся:

– Спорим, поступлю!

Ударили по рукам. На дюжину пива. И вот, он со своим дружком, самодеятельным композитором отправился завоёвывать Консерваторию. Вообще, отец, на моей памяти, был не словоохотлив и не любил рассказывать о прошлых своих похождениях. Но этот эпизод вспоминал не раз, и не без удовольствия, хотя и со свойственной ему самоиронией.

– Пришли мы с моим приятелем Витькой в Консерваторию, там полно народу и в зале, и в коридорах. Экзаменуют по вокалу. Вызывают по одному на сцену и под аккомпанемент фортепьяно претенденты поют арии классического репертуара. Там же, за длинным столом

сидят члены приёмной комиссии, посередке клюёт носом старичок-профессор, председатель этой комиссии. Видно, осточертели ему эти горлопаны. В сон его клонит. Всё происходит довольно быстро, иному и пары фраз не дают спеть: «Спасибо. Будьте здоровы. Вам сообщат». Наконец, вызывают меня. «Что будете петь?» Отвечаю: «Махараджу». А это песенка того самого приятеля- композитора Витьки, она давала необычайную возможность показать и диапазон голоса, и умение им владеть. В комиссии немножко удивились, но разрешили петь, и даже аккомпанировать – автору песенки.

Стал я исполнять этого «Махараджу», а там такие высокие ноты получаются, что дух захватывает. Гляжу, старичок- профессор проснулся и во все глаза на меня глядит. Я закончил, а он: «Погодите, молодой человек! А «Махараджа» ваш ничего себе. Только позвольте вас ещё послушать...». Вылез из-за стола, турнул моего дружка-композитора из-за фортепьяно, сел сам и, давай, меня гонять по гаммам. Чую: загоняет в такие верха, какие мне брать и не приходилось. Раз я дал «петуха». Он снова погнал вверх. Ещё «петух»... Такого позора у меня никогда не приключалось. А старичок-профессор, мне на удивление, радрадёшенек, ручки потирает – «Благодарю вас, молодой человек», – говорит, вроде удовлетворился тем, что до провала довёл. Так мы и покинули экзамен.

Я признал поражение: мол, провалил вредный профессор. Зато пиво, за счёт проигравшего, весело распили всей бригадой. Потом я отправился в длинную гастрольную поездку. И, можно сказать, полностью компенсировал неудачу в Консерватории успехом у зрителей глубинки. Вернулся поздней осенью, а сёстры суют мне телеграмму – из Консерватории: «В случае непосещения занятий будете отчислены». Приняли меня на вокальное отделение, оказывается. А профессор, я к нему на курс и попал, говорил что ему стало любопытно, насколько далеко простирается мой весьма высокий голос.



Иван Гаврилов – студент Московской Консерватории.

И всё складывалось у студента Консерватории Вани Гаврилова просто замечательно. На первой же практике стажировался, всего-навсего, в Большом театре – пел партию Ленского в опере Чайковского «Евгений Онегин».

Когда чествовали вернувшегося на родину Максима Горького, в театре Железнодорожного транспорта (ныне им. Гоголя), студент Гаврилов солировал в хоре. Великий пролетарский писатель пришёл за кулисы и, в умилении, окропил слезами радости плечо солиста Вани. «Долго мы не стирали ту рубашку со слезами «буревестника революции», – с усмешкой говорил отец. Но артистическая карьера его не сложилась. В ту пору по высшим учебным заведениям бродили вербовщики-агитаторы, призывавшие парней служить в рядах славной Красной Армии.

Не знаю, какие неурядицы выпали на долю успешного молодого человека: то ли забурился по пьянке (а он раненько начал прикладываться к «злодейке с наклейкой»), то ли мало-порядочная история с какой-нибудь девицей вышла (до прекрасного пола он был тоже охоч). Но учёбу в Консерватории он внезапно прервал и пошёл служить в погранвойска – на заставе польско-советской границы, где очень скоро выбился на должность оперативного работника,

ибо ловок был, силен, а уж и хитрованец – необычайный. Приведу один эпизод из его пограничных приключений.

Начальнику заставы, другу и собутыльнику моего будущего отца, подбросили анонимку. В ней говорилось, что Иван Гаврилов завербован и служит польской контрразведке – дефензиве. Скорее всего, кому-то очень мешал он, и его, по обыкновению тех лет, анонимный стукач решил скомпрометировать и убрать со своей дороги.

– Ваня, – призвал его начальник заставы, – а ведь мне придётся отправить эту бумажонку гёпэушникам, иначе меня самого за доноительство под это «самое не могу» прихватят.

– Сутки дашь? – спросил Иван, – И я приведу к тебе такого свидетеля, который этот поклёп отметёт, и все подозрения, и опасения, и надобность отправления в ГПУ отпадут.

Друг и собутыльник дал ему сутки.

В тот же день оперуполномоченный погранзаставы Иван Гаврилов перешёл границу и вскоре стоял в кабинете самого начальника местной дефензивы.

– Пан начальник, думаю, меня знает... Терять мне нечего, поэтому стрелять буду без предупреждения. Делайте то, что скажу.

Он взял под руку польского офицера, сунув ему в карман шинели руку с наганом с взведённым курком. Так, в полуобнимку, они прошли все посты – кто ж посмеет остановить самого господина начальника страшной дефензивы! Ведь эта организация, кроме контрразведки, выполняла еще роль политической полиции. А к вечеру ошарашенный и несколько растерянный пан свидетельствовал перед начальником советской погранзаставы, что Иван Гаврилов никогда не сотрудничал с польской разведкой, а наоборот – доставлял им одни неприятности, постоянно выявляя их агентуру. Подмётное письмо – дело рук его агента.

Иван был очищен от навета, пан начальник вернулся за кордон, но уже... в качестве завербованного советским оперативником. Надо ли уточнять, чьим агентом он стал?

Вот каков был мой будущий папаша, когда он повстречался с моей будущей мамашей.

А она на тот момент носила имя Ханы, и была принята буфетчицей погранзаставы. Я отметил, что они стали необычной для того, советского времени парой – но это слишком мягко сказано.

Представьте захолустный белорусский городок Койданово, получивший своё название от того, что здесь, по легенде, много веков назад было остановлено нашествие татаро-монгольских полчищ, их войско разбито, а предводитель, хан Койдан – убит, и тут же похоронен. По сему, якобы, крепость Крутогорье и была переименована в Койданово. По другой версии, более реалистичной, городок получил название от того, что славился кузнецами – а по-белорусски койдан – это кузнец. Во всяком случае, ко дню моего появления на свет божий большевики круто разрешили затянувшийся историко-архивный спор, присвоив 700-летнему городку новое имя: Дзержинск. Железный Феликс, видите ли, родился сравнительно недалеко от этих мест. Но нравы в переименованном городке, надо полагать, остались патриархальными. И для всех здешних обитателей, будь-то лояльных к советской власти белорусов, или втихомолку недолюбливающих её евреев, женитьба русского Ивана на еврейке Хане стала вызовом. Даже если отбросить в сторону этнические и политические соображения и предрассудки, то разве можно расценивать этот брак нормальным явлением? Ведь Ваня, при всех его достоинствах и недостатках, по мнению койдановодзержинского общества, срубил дерево не по себе: уважаемый коммунист-большевик-гой взял в жены аидеше-деву, хоть и красавицу, но... мужнюю жену, да ещё и с ребёнком!

Сказать, что мой папаня по молодости не пропускал ни одной юбки – язык не поворачивается. Но то, что он был большим поклонником красивых женщин, это довелось наблюдать и мне, в пору моего детства. Страсти в нашем семействе порою кипели нешуточные. Однажды, из ревности, моя маманя проломилась пистолетом голову своему наблудившему муженьку, моему папане. «Зажило, как на собаке», – говаривала она потом мне, ничуть не раскаиваясь

в содеянном. Ещё, наверное, не раз придётся говорить о взрывоопасном характере моей любимой мамочки. Но вернемся в далёкий от нас 1935 год.



Хана Гурвич.

Итак, на заставу пришла работать буфетчицей местная жительница по имени Хана. Сразу же вокруг вызывающе красивой молодой женщины зароились мужички. Военный люд

незатейлив, мол, раз молодайка улыбается в ответ на незатейливые шуточки, и вообще весьма приветлива и отзывчива, то почему бы не попробовать уволочь её в тёмный уголок?!

«Подкатываться» к смазливой евреечке служивые стали с первой минуты её появления на погранзаставе. Тем более что откуда-то «сорока на хвосте принесла», что муж поколачивает молодую супругу, и ей, вообще, несладко живётся в семействе еврея-богача. Но после того как некоторые особенно настырные ухажёры получили весьма увесистые оплеухи от, казалось бы, вполне доступной буфетчицы, пыл у сладкоежек поубавился. Тут-то и вступил в борьбу за сердце молодой красавицы наш Иван, то бишь, мой будущий отец. По своему обыкновению, опять же на спор заявил:

– Она будет моей!

На что поспорили? Мама, помнится, всегда утверждала:

– Эти гэстрики заложились на ящик шампанского! Папа неизменно поправлял:

– Не на ящик, а на два, но не шампанского, а пива.

Кто из них был правее – бог весть. А что такое «гэстрики» (в устах мамы нечто шкодливое, мелкотравчатое, заслуживающее презрения), то значение словечка этого я нигде не откопал.

В отличие от своих сослуживцев, побывавших в роли неудачливых ухажёров гордой недоτροги, он не стал ловить её в тёмном месте, не делал попыток, заигрывая, ущипнуть или потискать, а просто напроосто... арестовал молодую красавицу и посадил в избе, приставив вооружённую охрану. Бойцу, чтобы арестованная слышала, громко приказал:

– При попытке к бегству – стрелять.

А шёпотом прибавил:

– Хоть волос с неё упадёт, я тебе башку оторву!

В мгновение ока убийственная новость облетела местечко: Иван, пограничный оперативник, взял мужнюю Ханну в полюбовницы. А тем временем похититель чужой жены прямым ходом явился в дом её мужа.

– Выбирай, – предложил он ошарашенному и перепуганному насмерть мужу, положив для убедительности на стол свой револьвер, – или развод, или в расход?

Надо сказать, Иван тоже знал, что Хане было несладко в этой зажиточной семье. На неё, по сути дела, сразу из-под венца взвалили все домашние заботы. Она стала и поварихой, и прачкой, и уборщицей, и водоносом – по воду ведь приходилось ходить на колодец, с коромыслом. Она ухаживала за скотиной, работала в саду и огороде. Одним словом, превратилась в рабыню, которой, к тому же, помыкали все многочисленные родственники мужа. Ни дать, ни взять – современная Золушка, но не с тем ангельски покорным характером, коим прославилась сказочная героиня, а с нравом свободолюбивым, независимым, непокорным. Она всегда сильно выделялась из среды обычных еврейских девушек, но до поры до времени эти её весьма самобытные черты не очень проявлялись, хотя уже в детстве были моменты, когда она пугала окружающих оригинальностью своих поступков. Но об этом рассказ позже. А пока лишь замечу, что одно правило она сохранила неизменным на всю жизнь: вставала с петухами и ложилась далеко за полночь.

Муж, к удовольствию Ивана, оказался прагматиком: из двух бед он выбрал меньшую – развод.

Командир, как положено по уставу Красной Армии, на письменном прошении своего подчиненного разрешить завести семью, якобы, наложил такую резолюцию: «Дуракам закон не писан». Да ещё пожурил друга:

– Что же это ты, Ваня, жидовочку в жёнки берёшь? Разве русачек да белорусок тебе мало?

Между прочим, слова «жид», «жидовка» в тех местах не носили оскорбительного оттенка, сказывалась близость Польши, где этими словами и называли евреев.

А Иван, вроде бы, ответил, как отрезал:

– Раз дело в национальности, то это просто поправить.

Мама мне что-то туманно растолковывала, будто чекистам в Белоруссии (а отец был оперативником, стало быть, чекистом) запрещалось жениться на местных еврейках. Не думаю, чтобы такое в середине 30-х годов могло идти от официальной партийно-государственной установки. Однако если взглянуть на списки репрессированных в те времена, то в глазах зарядит от иудейских фамилий. Вот и раздумывай: то ли евреи, вырвавшись при советской власти за черту оседлости, сумели ухватиться во всех сферах за рычаги управления хозяйством, и при провалах им доставался первый кнут; то ли это отрыжка застарелого славянского антисемитизма.

Во всяком случае, Иван своё слово сдержал: еврейке Хане Берковне, в одночасье был выправлен новый паспорт, где она именовалась русской гражданкой СССР.

Как это могло произойти при живых родителях евреев: отец – Берке (отчество я запомнил) и матери – Двойре Калмановне Гурвич? Этого уже никто не поведаёт. А посему внесём сей нонсенс в разряд удивительных и непонятных гримас прошлого! Итак, Койданово-Дзержинск гудел в пересудах «Бедная девочка!» «Этот бандит и раввина заставит креститься!» На заставе тоже были ошарашены. А «арестованная» сидела с распущенными волосами на полу в избе, отказываясь от пищи. Иван, не мешкая, предложил на выбор: отправляться по этапу в качестве несчастной Ханы, признанной нежелательным элементом в приграничной полосе, либо с новым паспортом, в качестве счастливой Анны, шагать с Иваном Гавриловым в ЗАГС.

Я глубоко убеждён, что все эти драматические события протекали всё же под знаком вспыхнувшей большой, можно сказать, обоюдоострой любви. Иначе, чем объяснить разгар последующих страстей и приступов жгучей ревности, которая временами охватывала мою маму? Да и у отца случались проявления ревности, он, при его природной сдержанности и скрытности, думаю, до конца дней своих продолжал любить свою Хану-Аню.

Пришла, наконец, пора подбить итоги. Нелюбимый муж с перепугу дал согласие на развод, а бракоразводная процедура тогда была минутным делом. Арестантка, сидевшая под вооружённой охраной в избе на полу в слезах и с распущенными волосами, вдруг чудесным образом превратилась хоть и со следами грусти, но радостную невесту. Начальник и политрук заставы дружно, причём, официально признали и одобрили союз двух влюблённых. В довершение всего, бывший муж решил держаться подальше от пугающего его Ивана, и куда-то умогал из городка. Надо ли говорить, что новоявленный жених был в блаженном состоянии?!

Но пересуды, пересуды... Людская молва никак не могла успокоиться по поводу, на взгляд обывателя, явного мезальянса. И тут мне придётся рассказать, какой же была моя мать в детстве и девичестве.

Хана Гурвич – пионерка и хулиганка

Она ведь была не только вызывающе красива, но обладала не по летам мудрой головёнкой, да и характерец был, дай тебе боже! Такой самостоятельный, самодостаточный, такой не признающий догматических норм, опутывающих провинциальное общество, что это просто вызывало испуг у слабонервных. Она с малых лет бросала вызов заскорузлой местечковой морали.

Надо думать, Гурвичи, вообще, выделялись из среды дзержинско-койдановских обывателей, им постоянно перемывали косточки. Задавал тон глава семьи Берка. Когда его призвали в царскую армию, он попал в музвзвод, то ли трубачом, то ли барабанщиком. Какой-то фельдфебель сделал ему замечание за какую-то провинность. А попросту говоря, дал вполне традиционную зуботычину. Но, видно, не учел, что сей жид-музыкант обладал неукротимым нравом и литыми кулаками, готовыми к отпору. До армии мой дед работал на мельнице и таскал играючи многопудовые мешки с мукой. Вот и врезал он обидчику так, что сломал ему челюсть. За такой проступок (увечье нанесённое командиру при исполнении служебных обязанностей) полагался трибунал, каковой, по законам военного времени – шла Первая Мировая война – мог подвести Берла Гурвича под расстрел. Но койдановский здоровяк, к тому же, был неглупым и ловким мужчиной. Он ухитрился дезертировать, и, более того, удрать в Америку!

Вернулся оттуда аж через восемь лет, после Февральской буржуазной революции в России. Свалился, как снег на голову в родную избу, в щеголеватой тройке, в шляпе, в перчатках и с тросточкой. Жена его Дора, придя в себя от радостного изумления, на всякий случай поинтересовалась:

– А где твой багаж, Берка?

–В багажном отделении,, – весело ответил несостоявшийся американец. Позже выяснилось, что, кроме тройки, шляпы, перчаток и тросточки, Берл Гурвич в благословенных Соединённых Штатах Америки ничего, существенного, не нажил.

О его пятерых сыновьях пока можно только заметить, что все они были мощными парнями, с которыми мало кто отваживался связываться. Двое из них, те, что среднего возраста, вроде бы, стали даже чемпионами Белоруссии: один по штанге, другой по классической борьбе. Но драчунами братьев никто не называл, они, скорее, были довольно добродушными здоровяками-увальнями. Вот только один штришок, характеризующий их нрав. Они как-то заметили, что к их сестрёнке Хане повадился приставать какой-то уж очень настырный ухажёр. Знаете таких рукастых воздыхателей: то невзначай погладит плечико девушки, то на ушко ей всяческие скабрёзности начнёт нашёптывать, а то и ущипнёт. Она никак не могла от него отвязаться. Братья взялись поучить нахала хорошим манерам. Подловили у танцплощадки, и принялись... перекидывать этого малого через изгородку. Один бросает, другой ловит и отправляет обратно. Ухажёр орёт благим матом, а Гурвичи приговаривают: «Не таскайся за Ханой, ты ей не нравишься». Таким вот образом отбили у бедняги желание приставать к девчонкам вообще, напроць. Мне кажется, что свой крутой и независимый характер юная Хана унаследовала от папаши. Но кой чему научилась, глядя на подобные подвиги лихих своих братьев.



Пионерка и хулиганка

Во всяком случае, следующий эпизод из школьной её жизни рисует образ не пай-девочки, привычной для патриархальной еврейской семьи, а, прямо скажем, скорее, оторвы-шкодницы. Был у них в классе парень, переросток, закоренелый второгодник. Балбес балбесом, но невероятно прозорливый. Завтрака, которым снабжали его для школы родители, ему, явно, не хватало, Так он приноровился отнимать завтраки у одноклассников. С мальчишками связываться было не с руки, он взял за правило обчищать девчонок. Как назло, у Ханы с подружкой, по его мнению, бутерброды получались самыми вкусными. Их-то обжора и облюбовал.

Братьев Хана не захотела призывать на помощь, решила обойтись собственными силами. В одно прекрасное утро грабитель, по обыкновению, отнял у наших девчонок бутерброды, и принялся их уписывать. Правда, на этот раз вкус поживы показался балбесу странноватым.

– С чем это у вас бутерброды? – недовольно спросил он.

– Ешь, ешь! – давась от хохота, закричали подружки. – Они с нашим говном!

Несчастливого парня выворачивало наизнанку. Завтраки отнимать он зарёкся, более того, родители вынуждены были перевести его в другое учебное заведение, ибо не только одноклассники, но и ребята из других классов этой школы, как только он появлялся, начинали дразнить «говноедом» или ехидно спрашивали: вкусно ли он позавтракал бутербродами

Ханы Гурвич? А иные издевательски предлагали: «Сейчас иду в уборную, тебе оттуда принести чего-нибудь вкусенького?!». Дети ведь бывают злыми и мстительными, особенно к тем, кто их когда-то обидел.

Когда в Койданово окончательно пришла революция, а это случилось в 1920 году, многие жители отнеслись к представителям советской власти, если не враждебно, то насторожённо. А наша Хана сразу же вступила в пионеры, повязала красный галстук, и гордо дефилировала со своей закадычной подружкой по улицам родного местечка. Это вызывало брюзжание стариков и обывательские пересуды: «Как это у Берла и Двойры выросла такая большевичка?!». Но никто её пальцем не тронул – побаивались братьев.

Об «окаянных» (по Бунину) днях, установления Советской власти в этом белоаруско-польско-еврейском местечке, мне както, в пору моего студенчества, поведал двоюродный дед Яков Коган. Это был замечательный человек. Он женился на Сарубейле, родной сестре моей бабушки Двойры Калмановны. Об этом семействе Коганов обещаю отдельный рассказ, там что ни фигура, то оригинальнейший тип. А пока скажу только о главе: во всю свою московскую бытность (а это, начиная с 30-х годов) он выписывал газету «Правда». Поутру, раскрывая её, он приговаривал: «Посмотрим, посмотрим, что же там пишут сегодня эти большевики...».

Мне он сказал так:

– Что ты знаешь об революции? У нас в Койданово её делали мы, втроём: твой дед Берка, босяк Шмуль и я. Берка таскал мешки на мельнице, а захотел стать её хозяином, чтобы мешки для него таскали другие. Шмуль был оборванцем, ночевал на вокзале, и поэтому мечтал быть владельцем железнодорожной станции, чтобы оттуда его не выгоняли. А я просто желал нравиться девушкам. Мы взяли в руки красный флаг, ходили по главной улице, размахивали флагом, и кричали: «Да здравствует революция! Долой буржуев!». И вот результат: мельник удрал в Польшу, и Берка стал таскать мешки с мукой на государственной мельнице, Шмуль продолжал ночевать на вокзале, которым теперь командовал комиссар, откуда его по-прежнему гнали. А девушки на меня таки стали обращать внимание. Показывали своими пальчиками в мою сторону и со смехом кричали: «Глядите люди, вот идёт Яшка-мишугене с красным флажком». А мишугене – это сумасшедший или попросту – дурак...

Как там было на самом деле – Бог весть! Однако, так или иначе, но власть рабочих и крестьян пустила корни в этом приграничном городке, объявленном на короткое время Койдановским национальным районом БССР. В 1932 году ему дали имя – Держинск, в честь Железного Феликса, родившегося в нескольких десятках километров отсюда.

Так бы и росла, и развивалась красивая, смыслёная девочка, и – не известно, на какие высоты вывела бы её судьба, раскрывая перед ней все дороги, если бы не жуткая беда, обрушившаяся на неё. А как иначе назвать то, что ей пришлось пережить, и о чём с горечью поведала она мне на склоне своих лет? Одним словом, случилось невероятное: её изнасиловали, и этим насильником был один из её братьев.

Надо сказать, что в ту пору 16-летняя Хана считалась завидной невестой, хотя за ней не числилось солидного приданого. Уж очень она была хороша! И родители, чтобы прикрыть грех, не стали противиться чуть ли не первым сватам, посланным зажиточным семейством.

Но, богатство счастья не принесло. Как я уже говорил, на юную жену свалились все заботы о многочисленных домочадцах и о большом хозяйстве. А муж, как бы дополняя безрадостное рабское положение бесприданницы, частенько поколачивал Хану, вымещая на ней злобу за то, что она до замужества не сумела сохранить девичью честь.

Вот почему демонстративный и фиктивный по своей сути «арест», которому подверг Иван Гаврилов, явился для неё неожиданным высвобождением и от домашней каторги, и от нелюбимого супруга с его родичами. К тому же, что уж тут говорить, отчаянно смелой и свободолюбивой молодой женщине, пришёлся по сердцу этот Иван. Он был дерзким, но обходительным, внушал окружающим – кому страх, а кому уважение. И ко всему, был авторитетным, обаятельным, красивым, наконец, – как тут не влюбиться?! Одним словом, Иван и Хана очень даже подошли друг другу. Так что я, считайте, родился от любви, и всю жизнь ощущал на себе мощную материнскую любовь. Думаю, и суровый мой папаша питал слабость к своему первенцу. Ко всей этой истории следует добавить и то, что Иван догадался соблюсти обычаи – пришёл к родителям Ханы просить её руки. Всё чин по чину, если не учитывать, опять же напомню, что в это время босоногая, с распущенными волосами возлюбленная сидит под охраной часового на полу в избе. Если закрыть глаза на то, как собирает чемоданы перепуганный на смерть бывший супруг. Если не учитывать 5-летнего сына Ханы, который находится у бабушки, и неизвестно, как воспримет нового мужа любимой мамочки. Если, наконец, не принимать во внимание всемогущую людскую молву, способную отравить самое счастливое существование... Через всё это решительно переступил Иван. Не убоился он и могучих братьев Гурвичей, готовых постоять за свою сестрёнку-кровиночку. Впрочем, думается, им тоже пришёлся по нраву этот отважный русский, буквально вырвавший их сестричку из домашнего рабства зажиточной, но не очень-то уважаемой в местечке семейки.

Но главное слово оставалось за отцом с матерью. Наверное, Берл почувствовал в Иване близкую по духу натуру. Он, сам лихой человек, в поисках счастья, пропутешествовавший в Америку, легко принял в свой внутренний мир мужчину, которого не остановили никакие условности для завоевания любимой. Он ясно ощутил, что этот Иван способен и защитить, и сделать счастливой его дочь. И дал добро, к нему присоединилась во всём послушная жена.

Так, мне кажется, это было. А подлинных мотивов, каковые управляли действиями участников описанной жизненной коллизии, сейчас уже никто не вспомнит и не поймёт. Придётся принять мою версию.

Интересно, что новое замужество Ханы (однако, будем звать её по паспорту – Анной) могло очень скоро оборваться. И по совершенно невероятному стечению обстоятельств. Дело в том, что на конкурсе армейской самодеятельности, проходившем в Минске, Ивана Гаврилова заметил один профессор. Везло же ему на профессоров! Он поспособствовал тому, что талантливого певца пригласили выступить в спектакле Белорусского театра оперы и балета. Дебют оказался более чем успешным. У отца был очень высокий красивый тенор, а если учесть, что и сам он был хорош собой, то от поклонниц отбоя не было. И вот, когда встал вопрос: войдёт ли Гаврилов в молодую оперную труппу Белорусского театра оперы и балета, категорически против этого выступила Анна. Она сказала: «Или театр, или я». Разумеется, не без основания, почуяла, что театральные успехи, плюс поклонницы рано или поздно отнимут у неё любимого Ванечку.

Во второй раз отказался от сцены Иван. Видно, на роду у него было написано: артистом не быть!

А предположение моей будущей мамы о том, что, стоит зазеваться, и театральные фанатки уведут у неё мужа, увы, подтвердилось. Её благоверный уж очень легко откликнулся на манящие призывы любительниц оперных теноров. Во всяком случае, мне, уже в юношеском возрасте стало известно, что в Минске живёт моя кровная сестра – плод походов Ивана Гаврилова в перерывах между репетициями и выступлениями в Минском оперном театре.

Попади он в труппу, боюсь, у меня родных сестёр и братьев, по отцу, накопилось бы несметное количество.

Памир – крыша мира

Видимо, в те годы пограничники подолгу не засиживались на одном месте. Так мои родители, через некоторое время после моего появления на свет, отправились в дальнюю дорогу. Мы летели с самой Западной границы, где за кордоном, в Польше, было полно белоэмигрантов, на самую Южную – в Таджикистан, на Памир – крышу мира, где в горах бесчинствовали банды басмачей.



Хоккеистки – жёны пограничников, Мама -пятая слева. Сзади, вероятно, я.



Анна-конькобежка.

Как рассказывала мама, среди тех, кого отбирали служить в высокогорных местах, с разреженным воздухом, жгучим солнцем, нехваткой воды, было 16 семей с маленькими детьми. После медосмотра отобрали только четыре, в том числе и нашу. Каждый из нас троих, стало быть, отличался отменным здоровьем.

Мама прекрасно бегала на коньках, даже играла в хоккей с мячом, отец отлично стрелял. И она, и он участвовали в конных соревнованиях, и даже завоевывали призы, которые долго хранились дома. А у отца была именная сабля, с гравировкой подписи – то ли Буденного, то ли

Ворошилова. Во время скачек он получил единственное ранение, хотя в перестрелках с басмачами участвовал неоднократно. Лошадь встала на дыбы перед барьером, и металлическим выступом седла ему разрубило лёгкое. Однако до финиша он всё-таки добрался. Да, «зажило, как на собаке», – так любила приговаривать мама. Вообще-то пограничника Ивана Гаврилова можно смело назвать везунчиком. Ни одна пуля не нашла его, ни один кинжал не достал. Был случай, когда он мог погибнуть. Под лошадью на горной узкой тропе выскользнул камень. Несчастное животное начало скользить по склону, увлекая за собой седока. На какое-то время он задержал это опасное скольжение, стиснув лошадь ногами, и ухватившись за выступ скалы. Тут подоспели спешившиеся всадники-сослуживцы с верёвками. Опутали животное, и вытащили на тропу.



«Ранение» получено мной, видать, в «боях с басмачами».

Памир светится в дымке прошлого несколькими эпизодами.

Первый. Если меня спрашивают: «Когда ты приобщился к алкоголю?», – отвечаю честно, с гордостью, вызывая недоверчивый смех, – Первый раз тяпнулхряпнул, ещё не научившись толком говорить». А дело было так... Естественно, со слов мамы...

Тут я должен заметить, что мои собственные воспоминания простираются, начиная, примерно, с 4—5-летнего возраста. Утверждать, подобно некоторым нынешним мемуаристам, будто я слышал материнский голос, находясь в её утробе, или «как сейчас вижу склонившегося надо мной, лежащим в колыбельке, папу», – не стану. Такой «памятливостью» природа меня одарить, по-видимому, не удосужилась.

...дело было так. Мама куда-то ушла, оставив на короткое время меня одного. А на Памире, как известно, резко континентальный климат: зимой – мороз, летом – удушающая жара. Была летняя пора. Солнце нещадно пекло. В комнате атмосфера, как в хорошо протопленной печке. Мне, маленькому мальчику, очень хотелось пить. Наткнулся на бутылочку, вытащил пробочку, и отхлебнул. А то был одеколон! Алкаши им заканчивают возлияния, а я – начал с этого напитка. Как только ухитрился не сжечь гортань! Может быть, то была какая-то туалетная вода?

Вернулась мама. Говорит, ничего подозрительного не заметила. Взяла сынишку, и отправилась с ним в столовую. Там спустила его на пол. Малыш повёл себя странновато: покачиваясь, пошёл бродить по залу, подошёл к буфету, зачем-то ухватился за ящик со спичками, перевернул его, коробочки рассыпались.

– Да он никак пьяный! – изумлённо воскликнула буфетчица. Принюхалась к мальчику и, уже увереннее, заключила: – Факт, пьяный. От него перегаром несёт.

Второй эпизод. Он мог закончиться для моей мамы реальным тюремным сроком по печально знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса СССР. На Памире она работала библиотекарем. А время было то самое, репрессивное – 30-е годы. Закрывали нелояльные с точки

зрения властей газеты и журналы, упраздняли сотни общественных организаций, союзов и разных благотворительных фондов. Многих руководителей посадили, часть расстреляли. Я как-то готовил статью о гибели в 1938 году ВОИЗ (Всесоюзного общества изобретателей) и упразднении журнала «Изобретатель». Долго копался в госархиве. Каких только нелепостей не приписали главе Всесоюзного Общества Изобретателей Артёму Халатову! Навесили на него кучу немыслимых преступлений, и пустили в расход «агента мирового империализма». А журнал просто прихлопнули, как надоевшую муху, разогнав редакцию и расстреляв её главного редактора.

Вот на каком идеологическом фоне, жена коммуниста, офицера погранслужбы, библиотекаря заставы Анна Гаврилова получила из центра директивную бумагу: список литературы, подлежащей уничтожению. Для неё, влюблённой с детства в книги, это было равнозначно смертному приговору, вынесенному близким, друзьям и родным, приговор, который необходимо привести в исполнение своими собственными руками. То, что она сделала, могло быть квалифицировано совершенно чётко, в рамках обвинительного приговора: Анна Гаврилова, в стоворе со своими подругами, изготовила ложный акт, подтверждающий уничтожение литературы по списку, определённом надлежащими органами. На самом деле книги, вредные в идеологическом плане, уничтожены не были.

К счастью, среди подруг, подписавших опасный документ, или просто знавших о нём, стукачей не оказалось, ибо в противном случае, судьба нашего семейства получила со-о-о-всем другое развитие. Напомню, что же подлежало изъятию из духовного мира советского человека: книги Бунина, Куприна, отдельные романы Достоевского, некоторые народные сказки, а так же – братьев Гримм, Гофмана и даже Андерсена. Список был убийственно длинным.

Есть подозрение, почти уверенность в том, что своё сколь безумно храброе, столь и безрассудное деяние по сокрытию «подрывной литературы», Анна утаила от коммуниста Гаврилова. Надеялась, наверное, что в случае, если всё вскроется, любимый Ванечка не пострадает. Тогда ведь вездесущее «сарафанное радио» доносило: мол, вот жену «Всесоюзного старосты» М.И.Калинина – Екатерину Лорберг посадили на длительный срок за антисоветскую деятельность, а сам Михаил Иванович Калинин ничуть не пострадал, остался на своём месте. Говорят, валялся в ногах у вождя всех народов, но тот, будто бы, сказал, мол, я не могу суду указывать, кого сажать, а кого выпускать...

А ещё был эпизод, не криминальный, безалкогольный, не политический, но который мама любила пересказывать при любом удобном случае. Я записал его так, как он отложился после многочисленных маминых изложений. Мне даже кажется, будто эта картинка запечатлелась в моей памяти непосредственно с места события.

Жарко. Вокруг меня столпились полуодетые, полураздетые и вовсе голые тётеньки. Они бесцеремонно и восторженно кудахчут над головой светловолосого дитяти в рубашонке:

– Что за чудо ребенок!.. Какие локоны! Мне бы такие!.. Ну, просто ангелочек!.. Русалочка... Херувимчик...



Ну, чем не девчонка?!

Это Памир, баня на горной заставе. Здесь поочередно: помывочный день для мужчин, помывочный – для женщин. Сегодня женский день. Папа на границе гоняется за басмачами, а мама привела маленького ребенка в баню, так поступали с мальчиками в те времена все мамы.

Понять раскудавившихся тётенок было можно – есть моё памирское фото – действительно, симпатичная мордаха, сильно смахивающая на девчачью. Когда же из этого бабьего базара прозвучал вопрос: «Девочка, а как тебя зовут?» – я не выдержал. Заорав:

– Я – мальчик Марик! – задрал рубашонку, обнажив свое скромное мужское достоинство. Видимо, уже в том возрасте догадывался, чем отличаются мальчики от девочек.

А потом мы покинули Таджикистан, и оказались в Москве, в квартире моих трёх тёток Гавриловых, сестер отца. По старшинству: тётя Оля, тётя Соня и самая младшая, тётя Женя. А кроме них, в коммунальной квартире на Суцёвском валу жили мужа двух старших тёток и древняя бабка Вера. Тут, наверное, наступила пора рассказать то небольшое, что я знаю о семействе Гавриловых.

Волжане мы, но не из бурлаков

Малышня, надо думать, во все эпохи, если появлялась хоть малейшая возможность, придумывала себе красивую, героическую, либо романтическую, а то и трагическую родословную. В советские времена эта тяга к творческому переосмыслению прошлого собственного семейства очень усилилась. Ведь было просто опасно признаваться, что в роду есть дворяне или помещики, священнослужители или – хуже некуда – белоэмигранты. Вот и сочиняла ребятня, якобы своих, дедов-прадедов из бедняцкой рабоче-крестьянской среды, либо из революционеров, которые преследовались проклятым царским режимом. Чем я хуже? У меня тоже хватило фантазии придумывать себе героических предков по отцовской линии: прапрадеда, волжского бурлака и деда-революционера, посаженного Временным правительством в тюрьму.

Самое интересное, что эти мои детские фантазии опирались на реальные биографические факты, правда, несколько видоизменённые и частично приукрашенные.

Мой прапрадед Гаврилов был, действительно, волжанин, но не из бурлаков, прославленных Репиным и Горьким, и причисленных мной в свою родословную, а из мастеровых, проще и точнее говоря, из сапожников. Но вот судьбу свою он закрутил до того лихо и отчаянно, что в пору считать сию историю семейной легендой!

Влюбился в красавицу-татарку, да и умыкнул её из татарского улуса. Была погоня, но влюблённую парочку не догнали. Как и в нынешние времена, молодые отправились на поиски счастья в Москву. А поймали бы, считай, не получился бы род Гавриловых, поди, оборвался бы кровавой татарской мезьей. Впрочем, может быть, изловив беглецов, их всего лишь поженили, но, наверное, по мусульманским канонам. Да только тогда род Гавриловых укоренился бы на берегах Волги.

В Москве Гавриловы осели. Через какое-то время обзавелись собственной сапожной мастерской. А уж при втором поколении выбились в зажиточные люди. Говорят, перед революцией всем заправляла жена деда Дмитрия. Сам-то он крепко попивал, и любил вместе с мастерами из собственных сапожных мастерских пображничать, как только ускользал от строгого, надзирающего взора супруги. Но она отлавливала муженька, и, вроде бы, всыпала ему, под первое число. Ни дать, ни взять, вариант горьковской Вассы Железновой.

Прабабку Веру я застал в живых в доме по Сущёвскому валу, где жили Гавриловы. Подозреваю, что это доходное жилище принадлежало нашему семейству. Конечно, она уже ничем не напоминала властную хозяйку нескольких мастерских и грозную супругу, но это была мощная 90-летняя старуха.

Когда она совсем сдала, ослабела, то, лежа на высокой кровати, изредка звала меня к себе:

– Поди ко мне, внучек, я ведь помираю...

А я махал ручонками:

– Помирай, помирай, бабка! Не хочу я к тебе.

Прапрабабка Лиза, та самая легендарная татарка, не дотянула до моего рождения всего-то несколько годков, умерла в возрасте 103 лет.

По рассказам, у нее были черные густые волосы до пят, которые она сама расчёсывала и заплетала. В весьма преклонном возрасте она легко брала и несла к столу двухведёрный самовар. Чаю выпивала – зараз не меньше дюжины стаканов.

Долго, и в детстве, и в юности, я гордился своим революционным дедом Дмитрием, ведь при Временном правительстве его засадили в тюрьму, и только пришедшие к власти большевики выпустили моего героического деда. Так гласило, доступное мне в ту пору, семейное предание. Он подвергся репрессиям. Временное правительство издало указ о конфискации и переплавке для военных нужд церковных колоколов. Не всех, разумеется, а по списку. В злополучный «список» попала и колокольня храма, где Дмитрий Гаврилов являлся старо-

стой церковного прихода. Но он, вместе с бабушкой, прознал о судьбе, уготованной их колоколам, и ничтоже сумняшеся, мол, «всё одно – пропадать добру», загнал их какому-то барыге. Должно быть, хорошо отметили два этих служителя «за упокой церковного звона». Вот именно за пропитые колокола и угодил мой «революционный» дед в тюрьму, что не лишает его мной к нему любви и почитания за широту души.



Прапрабабка Лиза с Ванечкой – моим будущим папашей.

Тётки мои, три сестры отца ничем особенным не выделялись. Но с двумя: старшей – Ольгой и младшей – Женей связана необычная история.



Женя Гаврилова (третья слева).

Женя – тонкая, изящная девушка, каким-то образом, попала в балет Большого театра.

О достижениях её на прославленной сцене мне не известно. Сохранилась лишь фотокарточка, где она заснята в группе балерин. Стало быть, скорее всего, Женя не пошла дальше кордебалета. Зато личная судьба этой милой, душевной и очень молоденькой моей тётушки, в её драматических подробностях, отложилась в детской памяти. Как сейчас вижу её в садике нашей дачи в посёлке «42-й километр» по Рязанской железной дороге. Она сильно кашляла. Как потом стало известно, у неё был скоротечный туберкулёз. Незадолго до этого мы с мамой вернулись из эвакуации. Помог сесть в поезд Чкаловск-Москва, который штурмовали огромные толпы беженцев, случайный знакомый, майор Илларион Барсуков. После госпиталя, куда он, раненный, попал с фронта, его отправили в Чкаловскую область, в санаторий, долечиваться.

Теперь он возвращался в действующую армию, через Москву, где должен был получить направление. Если бы не этот энергичный военный, не известно, как и когда мы выбрались из эвакуации.



Илларион Барсуков.

В Москве майор доставил нас на квартиру семьи Гавриловых. А так как ему негде было остановиться, то мои тётки пригласили переночевать у них. Так пару-тройку ночей Илларион

Барсуков провёл на полу, в доме на Суцёвском валу. В те далёкие годы, да ещё в военное время, приходилось спать, где попадя. Никого не удивляло, когда гостю стелили постель где-нибудь в чулане, на кухне, в коридоре и прочих не спальных местах. Бравому фронтовику достался пол в самой квартире. Но он был счастлив не по этому, а совершенно по другому поводу: Барсуков с первого взгляда – влюбился в младшую из сестёр Гавриловых – Женю.

Тут необходимо прояснить семейное положение майора. Его жена, с двумя детьми, оказалась на оккупированной фашистами территории, но отношения супругов, ещё до войны, были на грани разрыва. Так что оставалось лишь закрепить это официально. А посему Ларион считал себя свободным от семейных уз. Судя по всему, Женя тоже не осталась равнодушной к очень милому, симпатичному, с открытой улыбкой человеку.

Всё было при нём: офицер, фронтовик, обходительный ухажёр. А она: вся такая воздушная, с очень хорошенькой мордашкой, прекрасной фигуркой, балерина, одним словом, – хоть сейчас под венец!

– После победы, Женя, жди меня! – сказал майор Барсуков перед отъездом на фронт. – Я обязательно приеду!

Но сразу после Великой Победы над фашистской Германией он в Москву не попал. Пришлось участвовать в разгроме Японии. А потом вернулся на родную Украину, там ведь ждали дети, и надо же было окончательно разобраться с нелюбимой женой. Впрочем, любил он её в ту пору или нет – мне не ведомо. Знаю другое. Дома на Лариона свалилась оглушительная, ну, просто чудовищная правда жизни. Его благоверная, видимо, не выдержала одиночества и бытовых тягот оккупации – ведь на руках у неё было двое малолеток. Одним словом, сошлась с германским воякой, стала, как тогда говорили с презрением, «немецкой подстилкой». Более того, она ещё и родила дитя от фашистского благодетеля. Много позже я познакомился с этим плодом оккупационной любви: такой типичный белобрысенький немчик. Очень милый мальчик, хлопающий белесыми ресницами, и с испугом и недоумением вззирающий на мир.

Украинские чиновницы, учитывая все обстоятельства, немедленно развели фронтовика Барсукова с «немецкой подстилкой». А ведь тогда обычные бракоразводные процессы шли довольно длительно, ибо государству было необходимо всеми силами поддерживать в целостности и сохранности институт распадавшихся во время войны семей.

В Москву Ларион попал только в самом конце победного – и над Германией, и над Японией – 1945 года. В квартиру Гавриловых явился, с букетом, редких в зимнюю пору, цветов, прямо в предновогоднюю ночь.

Своего возлюбленного невеста встретила... в гробу. Женя Гаврилова умерла от неизлечимого тогда туберкулёза буквально за день до наступления Нового 1946 года.

История эта завершилась не менее удивительно. Убитого горем Ларика, как могла, успокаивала и обихаживала старшая сестра Гавриловых Ольга. И как-то так, совсем незаметно, они стали мужем и женой. Дети Барсукова, присуждённые ему при разводе, в том числе и белобрысый кроха-немчик, влились во вновь образованную семью. У четы Барсуковых потом ещё и совместный ребёнок появился, так что, бездетная до этого тётка моя Ольга стала в одночасье многодетной мамашей. И заботливой, и любвеобильной.

С Илларионом, или дядей Лариком, мне потом, много лет спустя довелось побывать в Калининграде (Кёнигсберге), где в страшных мучениях погибал мой больной отец. Но об этом нужен отдельный рассказ. А пока мы перенесёмся в предвоенный городок Подмосковья Высоковск.

Высоковские лакомства

Каким образом оперативник с погранзаставы на Памире Иван Дмитриевич Гаврилов стал прокурором Высоковского района Московской области – мне неведомо. Думаю, в 30-е годы кадры специалистов во всех отраслях народного хозяйства ковались не только в вузах. Существовала грандиозная сеть всевозможных ведомственных курсов повышения квалификации. Вот и мой отец, видимо, прошёл через эту краткосрочную юридическую «академию». Помнится лишь только, что у него на всех прокурорских должностях было одно звание: младший советник юстиции, что не мешало ему продвигаться по службе. Он даже был назначен прокурором города Калининграда (Кёнигсберга). Но пока ехал из Москвы к месту новой службы, с незапланированной остановкой в Минске у своей, как говорила моя мама «полюбовницы с нагулённой дочкой», должность прокурора города... упразднили. И назначили его прокурором одного из районов Калининграда – Московского. Самое обидное во всей этой истории для Ивана Гаврилова заключалось в том, что ликвидировал высокий пост, предназначавшийся ему, прокурор области, его давний закадычный приятель. «Вынужденное сокращение штатного расписания, за неприбытием к исполнению обязанностей», – такая вот витиеватая формулировка была объявлена опоздавшему на службу служителю закона.

Ну, а пока мы находимся в Высоковске. Интересно получается: отца назначили туда городским прокурором в 1940-м году, то есть, в тот самый момент (как я выяснил только сейчас, с помощью Википедии и энциклопедии), когда рабочий посёлок Высоковский был преобразован в город районного подчинения Высоковск. Вот там-то моё сознание четырёхлетнего пацана уже стало удерживать в памяти некоторые события... В душном кинозале мы смотрим с мамой фильм, и в тот момент, когда баба-Яга улетает с диким завыванием в печную трубу, я в диком ужасе, и тоже с завыванием, вылетаю из кинотеатра.

Мне всегда казалось, что сей конфуз случился со мной на фильме «Кощей Бессмертный». Проверил: видно, подвела память, этот фильм замечательный режиссёр-сказочник Александр Роу снял в 1944 году. А «моё событие» происходило в 1940 году. Кадр и сейчас стоит перед глазами, но из какой он картины – не говорит, подлец. А впрочем, быть может, это произошло во время просмотра всё-таки именно «Кощея», но в другом месте и уже во время войны? Или это была какая-то другая картина?

Всё-таки, как полезно заглядывать в словари почаще, в том числе и в кинословарь. Глянул ещё раз, что там пишут о Роу, и ахнул от смущения и удовольствия: не «Кощея» я смотрел, а «Василису Прекрасную», того же кинорежиссёра. И Бабу-Ягу там играет Георгий Милляр.

Он-то и перепугал меня своим незабываемым хриплым воем. А картина эта вышла на экраны, аккурат, весной 1940 года.

Однако, чем меня успокоили после панического бегства из кинозала, уж это я точно запомнил. Мама ублажала перепуганного сыночка мороженым. Нынешняя детвора вряд ли поймёт, если я скажу, что это было ни с чем несравнимое блаженство. Продащица вынимала ложкой из бидона, утопленного в котёл с битым льдом, покоившегося в ярко разрисованной бело-синей коляске, аппетитное мороженое, и накладывала его в специальное приспособление, похожее на поршень. Из этого «поршня» выдавливалась круглая порция мороженого, обжата с обеих сторон вафлями. Облизывай, откусывай – в своё удовольствие! У меня до сих пор слюнки текут.

Другое прекрасное воспоминание отправляет на бескрайнее колхозное поле. По нему ползем мы, мелкие расхитители социалистической собственности. Мы – это стайка малышни, возглавляемая прокурорским сыном, то есть, мной, выкапываем турнепс. Вкуснейший, доложу вам, овощ! А ползком, чтобы сторож не застукал. Вообще-то воровские наклонности укоренились в моём характере с детства, и надолго, и глубоко. Спустя годы, я, уже школьни-

ком, в другом подмосковном городе – Раменское – возглавлял «бандитский налёт» местной шпаны из малолеток на железнодорожные пакгаузы. Но об этом – позже.

А ещё одна картинка, постоянно всплывающая из этого далёкого прошлого, связана с маминым братом, дядей Борей, приехавшим на побывку в Высоковск. Высокий, статный, красивый, в военной форме, он ходил по городу в сопровождении ребяташек. Тогда ведь девочки и мальчишки, страсть как, любили военных! Дядя служил в танковых частях, где-то на западной границе. Надо полагать, у нас он появился весной или даже летом 1941 года.

Мама рассказывала, что после своей побывки у нас, за несколько дней до 22 июня он прислал весточку со словами: «Ждите важных событий». Они грянули, а от дяди Бори больше никто, никогда никаких вестей уже не получал. Так он до сей поры и не числится – ни среди живых, ни среди мёртвых, ни даже среди пропавших без вести.



Борис Гурвич.

Но самый выразительный эпизод из высококовской жизни связан, как ни странно, с зеркальным шкафом. Это сейчас подобный шкаф не представляет ничего особенного. Более того, на фоне шикарных мебельных гарнитуров, разнообразнейших стенок с вмонтированными в них телевизорами и компьютерами, чеховский «глубокоуважаемый шкаф» представляет собой, в лучшем случае, музейный раритет или явный анахронизм в интерьере современной квартиры. А тогда, в начале сороковых годов прошлого века, зеркальный, трёхстворчатый шкаф, который везли по Высоковску в дом, где жил прокурор Гаврилов, собрал на улицах толпы зевак. К этому «событию года» следует дать пояснение: наша, так называемая, квартира состояла из двух комнаток в коммуналке, но всего с одним соседом. По тем временам это считалось прекрасным жильём. Став, к тому же, обладателями упомянутого шкафа, мы попали, по всем параметрам общественного мнения, в разряд высокопоставленных особ, или попросту – нас за глаза заклеили сов. буржуями.

Кто-то нынче может снисходительно посмеяться над ротозеями в захоlustье, позавидовавшими прокурору, приобретшему – эка невидаль! – какой-то шкаф. В связи с этим мне вспоминается рассказ моей тещи Екатерины Александровны МангубиЧеркес. Она 14-летней девочкой работала в 20-х годах машинисткой-курьером в секретариате Кремля. И вот, чтобы показать мне, молодому нигилисту, насколько далеки от стяжательства были тогдашние «высокопоставленные» люди, рассказывала, как они, кремлёвские служащие, ходили на концерты в свой клуб на Моховой улице, и там им выдавали к чаю мармеладки из моркови – бесплатно. Вот, мол, и все кремлёвские привилегии!

Я же вот что думал по этому поводу: «Остальная Россия- матушка в то время голодала. А халявные морковные конфетки впоследствии чудесным образом обернулись в персональные ЗИМы, госдачи, заказы в сотой секции ГУМа, и т. д.». Вот и тот самый зеркальный шкаф в Высоковском, как и те жалкие, но бесплатные конфетки, стал символом расслоения. На тех,

кто его мог приобрести или уже имел это трёхстворчатое чудо, и тех, кто о нём мог только безнадежно мечтать.

Война. Эвакуация

Начала войны, Великой Отечественной войны, я не помню. Зато хорошо укоренилась в памяти эвакуация. Здесь мне хочется сказать, что вопреки, вроде бы, устоявшемуся мнению, будто партийно-советские руководители на местах в первую очередь отправляли в тыл свои семьи, у нас, в Высоковске, было не так. Во всяком случае, наша семья – семья районного прокурора, тронулась в путь, когда фашисты уже обстреливали город. Семьи других ответственных работников тоже, наверное, покидали свои гнёзда под артиллерийскую канонаду. Мама с моим братиком Валеркой, ещё грудняшкой, села в кабину грузовика, а я, вместе с другими мамашками и малышками, забрался в кузов, где и расселись на досках, укрепленных концами в борта. Находился там, правда, и один мрачный дядька, очень тощий, скуластый, в сером дождевике (хорошо мне запомнившийся). Это был какой-то горкомхозовский служащий, видно, не годный к строевой службе. Через какое-то время он вдруг постучал по фанерной крыше кабины. Машина затормозила. Тощий дядька соскочил на землю и со злостью сказал моей маме что-то вроде «Кончилась ваша власть. Немцы наведут порядок!». Высадил её с ребёнком из кабины, а сам туда забрался, и стал командовать шофёру, куда следует нам ехать. Но он что-то, видимо, перепутал, и вместо желанных ему немцев, вывел машину на наш КПП. Мама изложила офицеру, что произошло в пути. Дядьку отвели в сторонку и, скорее всего, расстреляли. Мы этого не видели, но ведь по тогдашним законам военного времени предателей без разбирательства пускали в расход. Наверное, бывало, что расстреливали и не виновных. Но тот тощий – был явный враг.

Итак, мы отправились вглубь страны, а наши отцы остались в городе. Остались и остались – почему, зачем, этого нам знать было не положено до поры до времени.

Долго ли, скоро ли, как говорится в сказках, наконец, мы оказались в конце пути в деревне Чкаловской (ранее и ныне Оренбургской) области, названия которой я не запомнил. Перед глазами и сейчас маячит бревенчатая стена с толстым слоем снега-изморози. Можно представить, как холодно было в той избе, отведённой эвакуированным, или «выковыренным», как нас, бедолаг, именовали местные жители.

Выплывает из прошлого белобородый, с очень худым, измождённым лицом, старый-престарый еврей что-то долго разъясняющий маме. Она в то время ходила копать картофель из-под сугробов. Помнится, пекла лепёшки из мороженой картошки. Стояли жуткие морозы. Мы страдали от холода, и очень хотелось есть.

Годовалый Валерка-братик и я заболели одновременно крупозным двусторонним воспалением лёгких. Название этой болезни врезалось в память навсегда, ибо от неё братишка мой погиб. Мама позже неустанно повторяла, рассказывая об этом: «Нужен был красный стрептоцид, а его негде было достать. Этот стрептоцид мог спасти моего мальчика».

Похоронили Валерку на погосте посёлка Берды, под Чкаловом, потому что в той деревни, где мы жили, кладбища не было, ближайшее располагалось в Бердах.

Как представляю, что пришлось пережить моей маме в те времена, то не могу никак надеяться её самообладанию и воле к жизни. В самом начале войны она, по сути, потеряла своего старшего сына, который был при вторжении фашистов в Белоруссию то ли у бабушки, то ли в пионерлагере. Скорее всего, он погиб – на родине или, будучи угнанным в какой-то концентрации оный лагерь. Затем буквально у неё на руках скончался младший сынок. В довершение бед ей вручили похоронку: «С прискорбием извещаем, что Ваш муж, Гаврилов Иван Дмитриевич, погиб смертью храбрых». Не уверен, что в точности воспроизвёл траурный документ, но смысл той страшной бумаги, безусловно, передан мной правильно.

Весной 1942 года, после разгрома немцев под Москвой, мы вернулись из эвакуации. Приехали в столицу, в дом Гавриловых. Мама моя рассказывала, что от болезни, осложнённой

истощением, я был настолько слаб, что весь длинный и долгий путь из эвакуации проделал в беспамятстве или полузабытьи. И, разумеется, без помощи случайного попутчика – майора Иллариона Барсукова, о котором я уже говорил, ещё неизвестно, чем окончилось бы это возвращение. Не исключено, что мама могла потерять и меня.

В Москве нам стало известно, чем занимался мой отец, Иван Дмитриевич Гаврилов, оставшись на территории, оккупированной гитлеровскими войсками, и при каких обстоятельствах он «погиб смертью храбрых».

Всё объяснилось просто: руководители района и города Высоковск, в том числе и папаша, отправив семьи на восток, возглавили партизанский отряд. Гаврилова, как бывшего пограничника, чекиста, оперативника назначили командиром разведки, где он ощутил себя, как рыба в воде. И вёл себя со свойственной ему дерзостью и находчивостью, применяя, когда это понадобилось свою недюжинную силу.

Бургомистром Высоковска немцы поставили бывшего заведующего горкомхозом, который, то ли с перепугу, то ли из лакейской услужливости, стал указывать фашистам на тех, у кого мужа или сыновья были в Красной Армии. Когда же он принялся выдавать тех, кто втайне от немцев помогал партизанам, командир отряда поручил Ивану Гаврилову «ликвидировать подлого предателя». На что тот возразил, что это не решит проблемы. Найдут фашисты другого наймита, и новый бургомистр может оказаться зловреднее предшественника. Пусть, мол, этот иуда останется на своей должности, но надо, что бы «закладывать» людей, связанных с партизанским отрядом, он перестал. «Как его „перевоспитать“, я знаю», – заверил Иван Гаврилов.

Он встретил этого немецкого прихвостня неподалеку от городской комендатуры. Со стороны можно было подумать, что беседуют два закадычных приятеля. Картинка, напоминающая историю похищения начальника польской дефензивы. Гаврилов вновь выступал в своём излюбленном репертуаре.

– Больше ты никогда и никого не выдашь, иначе всему твоему многочисленному семейству плохо придется, – сказал он ему. – Обо всех намечаемых карательных операциях будешь сообщать нам заранее. А это, чтобы хорошенько запомнил мой наказ, – и выстрелил в него.

Помнится, я был уже взрослым, когда мама рассказала, что отец, оказывается, отстрелил предателю мужское достоинство, и при этом, будто бы, пояснил: «Размножаться таким, как ты, незачем». Говорили, что даже на операционном столе, когда бургомистра спасал немецкий хирург, тот не признался, что знает, кто в него стрелял. Он ведь хорошо помнил по прошлой своей деятельности: прокурор Гаврилов данное слово держит.

О том, что творил он, возглавлявший разведку партизанского отряда, в тылу врага, я мог только догадываться. Он был не только отчаянно храбрым, но и весьма изобретательным в своих, порой невероятно дерзких, вылазках. Мой отец так насолил оккупационным властям и тем, кто им пособничал, что с ним было решено покончить весьма оригинальным способом: во всех населенных пунктах района появились листовки: «Население может сохранять спокойствие. Бандит-партизан Иван Гаврилов пойман и повешен!».



Иван Гаврилов-партизан.

Гитлеровцы поступили так, как рекомендовал их главный пропагандист: чтобы в ложь поверили, она должна быть большой. Что ж, автор этой рекомендации – Геббельс – в случае с моим отцом оказался прав: в фашистскую брехню поверили даже в Москве.

Она-то и послужила основанием для написания официальной похоронки. Но сведения о смерти «бандита-партизана» Ивана Гаврилова, к счастью, оказались, как иронизировал Марк Твен, несколько преувеличены.

Весной 1942 г. наша семья воссоединилась в Москве.

Интересная подробность: отец явился с «партизанским подарком». Дело в том, что в отряде всех наделяли куревом, а Ивану Гаврилову, как некурящему, выдавали взамен табака крохотные сдобочки с изюмом, похожие на бочонки лото. Накопился их целый мешочек, какой он и вручил мне.

Мой папаша был человеком немногословным, а мне, как и любому мальчишке, подавай рассказы о героическом прошлом. Он же к «героике» относился почему-то с иронией.

– Как было в партизанах? – переспрашивал он меня. – Холодно было. А в землянке, где, как в песне, «вьется в теплой печурке огонь», очень сильно донимали блохи и прочая живность. Никак не хотел он удовлетворить мальчишескую жажду услышать рассказы о прошедшей войне. Но однажды сдался:

«Ладно, так и быть, слушай про героический эпизод».

Вот он, героический эпизод партизанских будней, в изложении моего отца:

«Нам стало известно, что немцы повезут через лес медикаменты и спирт для полевого госпиталя. Особенно нас интересовал спирт. В промерзшем зимнем лесу это и для медицинских целей, и для согрева всего организма великая ценность.

Устроили мы, как положено, засаду. Едут. Впереди легковушка с офицерами. Позади большой грузовик с солдатами. Вышел я на лесную дорогу, пострелял по легковушке, офицеры успокоились. А мои орлы из разведки закидали грузовик гранатами.

Взяли медикаменты. Отыскивали бочку со спиртом. Взвалил я ее на плечо – и ходу. А сзади еще машины с немецкой солдатней, но наши их попридержали. Однако вскоре все-таки немчура вновь пустилась вдогонку. Они-то налегке, а мы с грузом. Я впереди, как Чапай, но не на лихом коне, а пешком и по сугробам да с бочкой на горбу, а ребята отход прикрывают огнем. Ну, немчики вглубь не сунулись, побоялись. Отстали. Однако километров шесть, если не боле, пришлось мне переть этот чертов бочонок. Он, правда, не такой уж тяжелый был, но, однако, пуда четыре по бездорожью – тоже не соскучишься».

Тут я хочу напомнить: отец был могучим мужиком, работа в юности грузчиком в московском рыбном порту накачала его мускулы на всю жизнь. Между прочим, в 1941 г., когда разыгрывались описываемые события, он был в расцвете сил – 33 года, возраст Христа.

А закончил свой партизанский героический эпизод отец так: «Ну, и ругались в отряде, когда выяснили, что в бочке не спирт, а бензин! Один я смеялся. От обиды. Над самим собой, дураком, смеялся».

Попутно отмечу – отец никогда в жизни не сквернословил, что передалось и детям, и внукам. Чем ругаться, лучше смеяться.

А вот ещё одна картина, относящаяся к партизанской поре, по его собственному признанию, врезалась в память навсегда. Не раз он возвращался к ней, она занимала особое место во всей его богатой событиями жизни.

Немцы, разгромленные под столицей, стремительно удирали от ударов Красной армии. Колонны их войск настигала авиация, бомбила и расстреливала разбежавшихся по обочинам дорог солдат и офицеров. Проходил налет, и в кюветах, на придорожных полях оставались трупы и разбитая техника.

Новый налет – и поверх этого слоя мертвецов и железного лома ложились вновь убитые и остовы машин. И все это происходило в чудовищный, небывалый мороз, когда немцы застывали в тех позах, в которых застала их смерть. Такой страшный слоеный пирог предстал перед глазами вышедших из леса партизан.

«Мне пришлось пройти отрезок этой дороги смерти дважды, утром и на закате, – вспоминал отец. – И я заметил одного мертвеца, лежавшего на развороченной бронемашине. Мороз его ударил в тот момент, когда правая рука была поднята вверх. Так он и застыл, и остался указывать на что-то в небе. Возвращался я при свете заходящего солнца, а мертвый немец все продолжал тыкать пальцем в небо. Длинная тень от него пересекала дорогу. Меня этот немец с тех пор преследует...»

А ведь подобные «скульптуры» русские морозы громоздили вдоль дорог и в 1812 г., когда из России бежали французы. Кстати, с напоминанием о «великой наполеоновской армии» мне довелось столкнуться на Севере, куда я уехал, окончив институт. Под столицей Коми Сыктывкар, побывал в деревушке... Париж. Это всё, что осталось от множества пленных французов, выселенных в этот край после разгрома войск Наполеона. Говорят, до моего появления в том местечке жила древняя, чуть ли не столетняя француженка. Откуда она там появилась, никто не знал, может родственница какого-то пленного переселилась из французского Парижа в Париж Сыктывкарский?

Как утверждают историки, не состоявшиеся завоеватели мира быстро ассимилировались в чужой стране, пережившись на симпатичных комячках. Между прочим, у незнакомых с ними бытует превратное мнение об облике коми-девушек. Они рисуются такими раскосыми, скуластыми страхолюдинками. Ничего подобного. Глаза у них большие, округлые, а некоторая скуластость придаёт облику пикантность. Очень много красивых женщин. Мне, например, посчастливилось работать на местном телевидении в Ухте с самой настоящей красавицей Луизой Павловной, у которой были намешаны кровь коми, французская и, кажется, немецкая. Она была женой известного писателя Александра Рекемчука.

Так вот, в те далёкие времена пошла поросль от смеси угро-финской и романской народностей. Достигших призывного возраста юношей, франко-коми кровей, отправляли служить в доблестную французскую армию. И, опять же утверждают историки, не было ни одного случая, чтобы, по окончании срока службы, молодые люди не вернулись на родину – в Зырянский край.

Пленных немцев я видел только в кинохронике, тех самых, которые понуро плелись гигантской колонной в Москве по улице Горького. Зато с итальянцами, попавшими к нам в плен, пообщался. Они строили у нас, в Раменском, дом, и по-моему, не слишком себя утруждали. Бесперывно устраивали перекуры, хороводились вокруг коллеги с губной гармошкой, и горланили что-то на своём языке. Пели красиво.

Люди наши относились к ним с явной симпатией, жалели их, подкармливали. А ведь, ясное дело, в Советском Союзе едва ли нашлась семья, которая так или иначе не пострадала от ужасов военного нашествия гитлеровских войск и их сателлитов. Но почему-то зверства фашистов не увязывались с пленными из той же армии захватчиков. К ним относились с обычным человеческим состраданием, как на Руси издавна принято «выказывать жаль» к сирым, убогим и заключённым. Западные зрители до сих пор недоумевают, глядя кинохронику: отчего это русские молча стоят по обочинам улицы Горького, без ненависти глядя на проходящих мимо поверженных фашистов. Почему никто не кидается на изуверов с кулаками, никто не бросит в них камень...

Один итальянец затеял со мной куплю-продажу. Изъяснялись в основном жестами, подкреплёнными несколькими расхожими русскими словами, произносимыми пленным солдатом с жутким акцентом. Наконец, до меня дошло, чего он хочет: у него были иностранные марки в небольшом альбомчике, и за них он просил – о, ужас! – несколько буханок хлеба. Подтвердил количество буханок, растопырив пальцы обеих рук. Разумеется, такой грабительский, на мой взгляд, обмен не состоялся. Возможно, его коллекция марок, действительно, стоила дорого. Но где ж я достал бы в то голодное время столько хлеба?!

Раменское

Воевал отец недолго, всего-то несколько месяцев. Потом вернулся к своей прежней профессии. Но назначили его не на прежнее место в маленький городок Высоковск, а, видно, с повышением – прокурором Раменского района Подмосковья. Это был крупный железнодорожный узел. Там дислоцировалась, на отдыхе, дивизия генерала Гурьева, прославившаяся потом в Сталинградской битве. Помнится, на каком-то праздничном застолье у нас в доме присутствовали – комдив генерал Гурьев и полковник Лещинин, комбриг или комполка. За тем же столом, помимо хозяев, присутствовал, находящийся в краткосрочном отпуске перед отправкой на фронт, мой дядя, мамин младший брат Семён. У него был хороший голос, и мама попросила его спеть. Полковник мягко сделал замечание: мол, не мешало бы товарищу лейтенанту спросить разрешения петь у старшего по званию – у товарища генерала. Мама, улыбаясь, отчеканила:

– Дорогие гости, здесь старший по званию – хозяйка дома! Я тут генерал!

Подобным крутым образом маман частенько ставила на место не в меру важничавших начальников, зазнавшихся чинуш, просто нахалов и мало воспитанных людей. Правда, к их числу наши нынешние именитые гости не относились. Что и доказали при прощании: они, между прочим, выходцы из деревни, галантно целовали ручки прекрасной Анны Борисовны, извинялись, «если что не так сказали». А с семьёй Гурьевых (жена и, кажется, две дочки) мы подружились на долгие годы. Во всяком случае, мамочки пытались меня охмурить и женить на гурьевской дочке. Пришлось даже отшучиваться: «Я очень люблю гурьевскую кашу. Но зачем брать её в жёны?!»

Когда дивизия генерала Гурьева уходила из Раменского района на фронт (её перебросили в Сталинград, где она и прославилась), солдаты оставили по себе память. На верхушке высокой сосны прикрепили большой плакат с надписью, видной и читаемой, пожалуй, со всех концов города: «Смерть фашистским оккупантам! Слава раменским бл... дям!»

Извиняюсь за ненормативную лексику, но не смею править сей исторический документ! А если учесть, что авторы его: самодеятельные поэты и художники, да и те, кто сумел забраться на такую вершину и укрепить там скабрёзный плакат, вероятнее всего, героически погибли в сталинградской чудовищной битве, то свидетельство их здорового мужского юмора дорогого стоит.

Своеобразное прославление раменских девушек провисело изрядное время. Смелчаков, отважившихся снять плакат, долго не находилось – внизу, у подножья сосны красовалось лаконичное предупреждение: «Заминировано». Я думаю, местное начальство – оно ведь тоже состояло из мужиков – по достоинству оценившее юмор гурьевских воинов, не торопилось убрать его с глаз долой. Даже я, ещё не школьник, но уже ранний грамотей (читал с пяти лет), прочёл ту надпись, хотя вряд ли понял её подлинный смысл.

Раменское запомнилось не только описанными эпизодами. Необходимо сказать, что подмосковный городок был в те военные годы средоточием воров, хулиганов и бандитов. Мирным да безоблачным наше существование там тогда можно было назвать с большой натяжкой. Помнится, когда я однажды вышел ясным днем из школы, мимо промчался мой папаша с револьвером в руке. Вероятно, гнался за каким-то преступником. Теперь-то я понимаю, что не прокурорское это дело – гоняться с оружием за жульём. Но видно, сказывались навыки пограничника-оперативника и партизанского разведчика.

Однако, он и об этих военно-тыловых, порой весьма боевых случаях, рассказывать не любил. Хотя мне известно доподлинно, как он с нарядом милиционеров ловил одну бандитскую шайку. Те занимались грабежами, разъезжая по Подмосковью на автобусе. Представьте, останавливается автобус посередине какого-нибудь поселка или деревни, вооружённые бандюги

выскакивают из него, и грабят магазины, ларьки, аптеки, банки, да прохожих, заодно. А потом отбывают в неизвестном направлении. Пару раз удалось обстрелять удаляющийся автобус, но, судя по всему, он был бронированный. Во всяком случае, разбойники на колёсах не пострадали. Предполагаю, отец разработал операцию по ликвидации бандитов, опираясь на свой опыт борьбы с басмачами. В ходе преследования автобус загнали в искусственно созданный тупик – он упёрся в разобранный мост. И тут, под прикрытием огня, который открыли милиционеры, прокурор Гаврилов кинулся под автобус, и стал через днище, как он и предполагал, не защищённое, стрелять из автомата в тех, кто был внутри. И налётчики сдались. С бандой было покончено. Кстати, выяснилось, отчего разбойничий транспорт был неуязвим – хитрецы обложили его изнутри мешками с песком.

Говорят, мой отец вызывал уважение даже у отпетых уголовников. О нём, будто бы, установилось такое воровское мнение: «Этот больше положенного не даст». И будто бы суд всегда назначал сроки, которые запрашивал в обвинительном заключении прокурор Гаврилов. Были случаи, когда с его подачи выносились и оправдательные приговоры. Один такой, оправданный, решил отблагодарить «справедливого прокурора». Он явился к нам домой с «благодарностью». Отец был на работе. Мама буквально спустила этого благодетеля с лестницы. Я в то время возвращался из школы, и видел, как скатился вниз незванный гость. И как билась о ступеньки голова гуся, свисающая из авоськи, набитой дефицитными в ту голодную пору продуктами. Уважение и доверительность, каковыми пользовался у завязтых преступников прокурор Гаврилов, возможно, вызывала татуировка на кисти его правой руки. Ни на допросе, ни в судебном заседании руки в карманах держать – не принято, а уж перчатки надевать – совсем не к лицу советскому юристу! Чем только ни пытался отец свести злополучную отметину юношеской глупости – и какими-то таинственными мазями от знахарок, и сырым мясом, увы, татуировка только чуточку побледнела. И по-прежнему уголовная братва благостно урчала: «Наш человек, хоть и завязавший... не скурвился, лишку не даст...».

Моя мать, надо признать, играла большую роль в укреплении авторитета прокурора Гаврилова. Яркая красивая женщина, она притягивала людей. Наш дом, конечно, не считался великосветским салоном, о таких понятиях в советские времена даже не было слышно. Однако у нас собирались интересные и значительные личности – из раменской элиты и приезжие. В праздники мама устраивала широкое застолье. Накануне Нового года, помнится, лепили пельмени. Раскатывали тесто, тонко-тонко.

Затем стеклянным стаканчиком выдавливали кружочки, в которые раскладывали фарш. И принимались быстро лепить. Тут блистал мой отец. Трудно поверить, но пока мы с мамой делали по две-три штучки, он успевал слепить десяток пельменей. Причём, они у него получались маленькими, но пузатенькими. Затем сотни этих пельмешек вывешивали в специальной объёмистой сумке в форточку за окно, на мороз. За новогодним столом они пользовались огромным успехом. Секрет необычайной вкусноты их, разумеется, заключался не в сумасшедшей скорости, с какой лепил пельмени отец (хотя и это способствовало изготовлению продукта), а в том, как мама приготавливала тесто, и – особенно – фарш. Она вообще была волшебной кулинаркой. Помнится, как в старости, будучи больной и прикованной к постели, руководила она из дальней комнаты мной, затеявшим, с её подачи, варить борщ. Это было грандиозное действо в кухонном театре одного актёра, абсолютно не знающего роль и действующего по подсказке суфлёра. Мама спрашивала, что происходит в кастрюле: что умягчилось, что всплыло, и тотчас отдавала приказание то-то положить, влить, вбросить. При этом постоянно интересовалась цветом того, что постепенно превращалось в борщ. Мы потом несколько дней наслаждались тем «настоящим» борщом, и жена моя Ариша так и не поверила, что его сварил я.

– Как можно по подсказкам из дальней комнаты, не глядя в кастрюлю, не пробуя, приготовить такое блюдо? – вопрошала она. – Не разыгрывай меня.

За нашим праздничным столом в Раменском бывал первый секретарь райкома партии Павел Георгиевич Бурлычев. Большой, шумный мужчина. Он, сделал неожиданную карьеру. Случилась беда: по какому-то недосмотру или из-за аварии Москва оказалась без картошки. А она являлась основным продуктом питания в послевоенный период. И тогда Бурлычев, под свою личную ответственность, велел снять в электричках скамейки для сиденья, и, загрузив вагоны картошкой, которая скопилась на раменских складах, отправил состав в столицу. О находчивом и смелом руководителе доложили Сталину. Тот велел выдвинуть секретаря Раменского райкома партии на пост председателя Мособлисполкома. Бурлычев, явно обогреваемый симпатией вождя, заметно набирал политический вес в глазах кремлёвского руководства. Ему даже доверили председательствовать на партийно-правительственном торжественном заседании, посвящённом празднованию 30-летия Великой Октябрьской революции, проходившем в Колонном зале Дома Союзов.

Накануне его назначения председателем правительства РСФСР (указ уже был подписан Сталиным) случилась автокатастрофа и Бурлычев погиб. Ходили упорные слухи, что его, слишком быстро идущего по карьерной лестнице, убрали с помощью шофёра-смертника. Говорят, что тот даже попрощался с друзьями перед роковой поездкой.

Жили мы в Раменском сначала на окраине, неподалеку от станции Фабричная. Как-то размещались в двухкомнатной квартире: мама, отец, я и мамы родители.



Дора Гурвич с внуком.

Они казались мне глубокими стариками, хотя, по нынешним понятиям, были просто пожилыми людьми, ведь им едва по шестидесяти лет не стукнуло. Бабушка любила отвечать по телефону, держа трубку на почтительном расстоянии от уха, интеллигентно отставив мизинчик. Она выговаривала слова, будто диктовала, с жутким местечковым акцентом:

– Квартира прокурора товарища Гаврилова. Вас слушает Дора Калмановна.

Древний, по моему сопливому мнению, дед Берл работал на продуктовой базе снабженцем, была такая специальность. В его обязанности входили разъезды по крестьянским хозяйствам района и скупка у них продуктов. Запомнил его несколько мрачноватым, неразговорчивым человеком, но вдруг расцветающим доброй улыбкой на сильно морщинистом лице. Как бы я изумился тогда, если бы узнал о давнем, дореволюционном побеге деда в Америку. Ничего романтического, а тем более, героического в нём не проглядывало. Не могу сказать, какими глазами я стал на него глядеть, если бы мне рассказали о другом вояже Берла Гурвича, совершённого им в первые недели войны...



Берл Гурвич.

Минск ведь оказался в числе первых советских городов, которые подверглись бомбардировке немецкой авиации. А Койданово, где жили Гурвичи, ещё ближе к границе. Не знаю, как произошло, что мой дед оказался в неожиданной для себя роли. Ему пришлось выводить из-под обстрела и наступающих немцев целое стадо коров. В пути к нему присоединялись беженки с детьми, старики – в основном евреи, видно уже до них дошли слухи о карательных операциях в Польше, других местах против сынов и дочерей израилева племени.

Как это стало возможным, чтобы толпа беженцев и стадо коров во главе с моим дедом преодолели почти тысячу километров из Белоруссии в Подмоскowie, даже представить не могу. Ведь животным был необходим корм, стало быть, приходилось делать длительные привалы. Благо, кругом расстилались поля с недоспевшей пшеницей, рожью и другими зерновыми злаками, которые не успели сжечь, уничтожить, чтобы ничего не досталось наступающему врагу. Людям тоже нужна кормёжка, ночлег. Очевидно, они укрывались от дождя и непогоды в хатах встречных сёл, а то и в шалашах, сооружённых из ветвей и хвороста на скорую руку. От голода спасало молоко, на него же выменивали у крестьян хлеб и другой провиант. Доили коров, очевидно, мамашки-беженки. Готовили на кострах.

Сейчас это можно назвать подвигом, а тогда, в 1941 году этот грандиозный поход воспринимался всеми, как нормальное поведение людей, сплотившихся перед надвигающимся нашествием фашистов, и доверивших свою жизнь воле и разуму бывалого человека, каким был мой дед. Он удивился, если б его назвали героем. Не любил подобных высокопарных выражений. И вот человек, проделавший такой, полный опасностей, путь, погиб по нелепой случайности. Зимой, в метель возвращался с работы домой вместе со знакомым товарищем. Остановились на шоссе, чтобы пропустить попутный грузовик. Дед отступил в сугроб, и, как только автомашина проехала, вновь шагнул на дорогу. Тут его ударил прицеп, который он не заметили из-за мятущегося снега. Товарищ уцелел, а дед Берл скончался на месте. Похоронили его в подмосковной Малаховке, на еврейском кладбище. Спустя сорок лет там же нашла вечный покой его дочь, моя мать Анна.

«Прокурорчик» превращается в Марёку

Папашина правоохранительная деятельность отражалась и на моём житье-бытьё, а вернее будет назвать его житьёмбытьём. В школе (с 1943 года пошёл в 1-й класс) меня никто по поводу того, что я сын прокурора, не трогал. Зато на улице доставалось. Дело в том, что прокурор Гаврилов сажал в тюрьму отцов и старших братьев моих сверстников, а они меня, его сынка, естественно, люто ненавидели. И стремились на всю катушку использовать возможность отомстить за «родную кровиночку», выместить на мне свои обиды. А проще говоря, измордовать «прокурорчика» – так меня прозвали. Пробовали сводить со мной счёты «тет на тет» или «тык на тык», одним словом, один на один. Но такие поединки оканчивались для моих противников, как правило, плачевно. Сказывалось то, что от природы я был крепеньким пареньком, весь в своих родителей пошёл, к тому же после эвакуации уже достаточно отъелся, а противостояли мне вечно голодные, истощавшие мальчишки. Впрочем, они быстро переменили тактику: стали лупить меня скопом. Однажды я заявился домой, держа в руках оба оторванных рукава зимнего пальто на вате. Мама пыталась:

– Кто эти шалопаи? Я им уши оборву!

Но я молчал, как партизан на допросе. В годы моего детства, пришедшиеся на Великую Отечественную войну, предательство считалось самым постыдным и жестоко наказуемым проступком: и в мире взрослых, и в среде ребят.



Я, ещё «прокурорчик» с братиком Валериком.

Не припомню точно, каким именно образом я подружился с одним пацаном, который, наконец, и защитил меня от постоянного коллективного избиения. Это был ярый поборник неписаного, но строго соблюдаемого правила, гласящего – «Двое в драку, третий в сраку» (извините, опять трудно обойтись без грубоватого, но очень точного словечка). Этот пацан и встал на пути тех, кто скопом лупцевал «прокурорчика». А прологом тому послужило, по-видимому, вот какое происшествие.

Но начну слегка издали. Примерно, через год, после того, как мы обосновались в Раменском, около станции Фабричная, в стареньком обветшалом доме, нам выделили двухкомнатную квартиру в новом, первом в городе пятиэтажном кирпичном здании. Когда мы туда въехали, оно ещё достраивалось. Одно крыло уже обживалось, а в другом вовсю шли отделочные работы. Обе части домины соединяла, на уровне крыши, довольно длинная арка. Уж не знаю, по какой прихоти её соорудили, то ли из-за украшательского зуда архитектора, то ли потрафили нуждам военного ведомства – для расположения там зениток и приборов для обна-

ружения летящих целей. Нам же, мальчишкам та арка пришлась очень по душе – для демонстрации ловкости и бесстрашия. Преодолеть, на высоте крыши пятиэтажного дома (а это почти двадцати метров от земли), по узкой каменной тропинке, полтора-два десятка шагов, согласитесь, такое требует и мужества, и твёрдости характера, и даже наплевательского отношения к собственной жизни. Всё это, думаю, ценилось ребятами во все времена.

Когда я героически прошёл эту дорожку (врать не стану, не помню – ползком или на своих двоих), тот самый пацан провозгласил:

– Теперь, отныне и навеки Марёка мой товарищ и друг. Коли на него кто скопом потянет, тот будет иметь дело со мной!

Любили тогда пацаны красиво выражаться.

Иметь дело с парнем, у которого и отец, и старшие братья угодили в тюрьму за воровство и разбой, ежу понятно, никому не было охоты. Так «Прокурорчик» был, вычеркнут из лексикона уличной ребятни, а ко мне на всю раменскую жизнь приклеилась кличка «Марёка», напоминающая «маруха», «хавира» и прочие словечки блатного жаргона.

Но как же его-то звали, дай Бог память! Витюха-Колян-Вован-Митяй?...

Некрасивый, сутулый, с непомерно длинными руками, серым лицом и бесцветными, выключенными волосами, он был природённым заводилой. Во главе с ним мы были непобедимы в схватках «улица на улицу», «район на район».

Один эпизод той драчливой эпохи запомнился на всю жизнь. Но я о нём, до сей поры, никому не рассказывал и не писал. Пришло время извлечь его из прошлого, чтобы покаяться.

Я стоял в длинной унылой очереди за хлебом, почти в самом хвосте, вылезавшем далеко за порог магазина. Тут на улицу вышел вихрастенький мальчишка. «Залининский», – отметил я про себя с удивлением и неудовольствием. «Залининские» – это те, что жили по другую от нас сторону железнодорожной линии. Они были лютыми нашими врагами. «Почему?» – спросите вы. Да потому, что жили по ту сторону железной дороги. «Разве это повод для вражды?» – не угомонится иной дотошливый читатель. Ответ будет повторен: они жили за линией! Надо понять то время, диктующее нравы, кажущиеся теперь кому-то дикими. Шла война и мальчишки, те, что не рискнули бежать на фронт, как бы разряжали своё воинственное настроение на разборках местного значения. «Врагов» отыскивали легко и, можно сказать, незатейливо: по определению «наш – не наш». Наш дом – не наш дом, наша улица, не наша улица, и т.д., и т.п....

Как занесло залининского паренька на нашу территорию – не знаю. Может, там, у них хлеб кончился, или слишком очередь длинна?! Но теперь мимо меня с полбуханкой хлеба в авоське нахально шагал недруг. Как мы сцепились, кто первым начал выяснять отношения – Бог весть. Возможно, я невинно спросил:

– Ты чего здесь у нас шастаешь, залининская шваль?

А он, вероятнее всего, так же невинно ответил:

– Не твоё дело, жид пархатый!

Надо признать, мама наградила меня вполне узнаваемо- семитской физиономией. И мне не раз из-за этого приходилось пускать в ход свои скорые на расправу кулаки.

Итак, мы сцепились. И я ему крепко напододал – паренёк оказался хоть и не робкого десятка, но физически хлипким. А очередь равнодушно глядела, как валтузят друг друга мальчишки, никто не вмешался, ибо, наверняка, побаивались, что остервенелые драчуны могут поцарапать их или покусать. Нет, я не торжествовал победу. Я в растерянности глядел на своего противника. Он плакал. Плакал не от боли. Плакал не от обиды, что его побили. Он плакал от того, что в пылу драки уронил в грязную лужу драгоценные полбуханки хлеба. Как он теперь принесёт его домой?!

Так и встаёт передо мной этот мальчишка, размазывающий по лицу слёзы, обтирающий грязь с хлеба, отоваренного по карточкам. Что его ждёт дома – жутко представить!

Не смогу простить себе ту «победу» 70-летней давности.

Но, разумеется, не из одних драк состояла наша ребячья жизнь, были и другие утехи и развлечения. Зимой, например, мы цеплялись крючьями за проезжающие грузовики, и катились по обледенелой дороге, стирая подошвы валенок или сверкая, примотанными верёвками к ногам «снегурками». Ну и доставалось нам от родителей за это лихачество! Однако, самым захватывающим событием являлся набег на железнодорожный пакгауз, о чём я обещал рассказать.

Постепенно в нашей пацанской иерархии сложилось так, что возглавили ребячью ватагу Витюха-Колян и я, Марёка. Собственно говоря, ничего привлекательного в этом пакгаузе не было. Унылые ряды контейнеров, груды ящиков... Конечно, здесь можно было шикарно поиграть в прятки: укромных местечек – навалом. Но это игра для малышни, а мы уже серьёзные парни, способные на нечто другое, с нашей точки зрения, достойное уважения.

Я уже отмечал свои воровские наклонности, толкавшие меня вместе с другими высококовскими ребятами таскать турнепс с колхозного поля. Но то была самодеятельность, замешенная на жажде приключений. Да и возраст мелких воришек был «от горшка – два вершка». Здесь, в Раменском всё было иным: и возраст «налётчиков», и состав «банды», и мотивы наших далеко не безобидных налетов на железнодорожный пакгауз. И так, мои преступные задатки, попавшие в благотворную среду, получили дальнейшее развитие. Наш пацанский союз состоял в основном из младших братьев и детей взрослых воров и налётчиков, которыми был полон городок Раменское. Помимо того, что это был крупный железнодорожный узел, притягивающий криминалитет, в нём ещё располагался громадный рынок-барахолка – раздолье для воря всех мастей. Но младшая поросль от всех этих щипачей, карманников, форточников и прочих бомбил и медвежатников, на рынок соваться не смела. И профессионального мастерства ещё не хватало, да там всё было расписано на «зоны обслуживания». Сунется чужак – могут и замочить.

Вот почему будущие уголовники оттачивали своё умение безнаказанно переступить порог закона – на железнодорожном пакгаузе, который охранялся из рук вон плохо. Во всяком случае, нам сторожа не попадались. Каким-то образом, становилось известно, что в это заветное хранилище железнодорожных грузов именно сегодня прибывают ящики со жмыхом. Их-то мы и «шарашили». Поясняю для непосвящённых: после отжима масла из различных зерен всё, что остаётся, брикетируют и высушивают, вот и получается тот самый продукт, за коим мы охотились. Причём, сперва нас вполне устраивал кукурузный жмых. Ну, сегодня, вряд ли малолетки станут грызть эти желтовато-коричневатые сухари, которые нам казались очень вкусными. Но позже мы наткнулись на серые плитки, в которых виднелись всеми любимые семечки – то был подсолнечный жмых. Поверьте, мы испытывали, как теперь выражаются в рекламе каких-нибудь «сникерсов», подлинное райское наслаждение, то есть, такой нам представлялась пища небожителей.

Самое удивительное, что банда наша, возглавляемая Витюхой-Коляном (сыном и братом матёрых уголовников), и Марёкой (сыном прокурора), ни разу не попала на своём недолгом воровском промысле. Может быть от того, что всё делалось «грамотно»: засылались разведчики-слухачи, на стрёме стояли самые ушлые, которые чуть что свистели – «атас», и мы давали дёру?

Что же это получается, граждане-товарищи-господа? Получается, что детство моё прошло в драках и воровстве? Память, коварная дама, подсовывает из своих закровов сплошь отрицательные примеры, сплошной компромат. Однако, стоит в ней покопаться, и всплывут, никуда не денутся, более симпатичные, совсем не криминальные картинки.

Первое, что неохотно выдала память, почему-то заторможенная на положительные примеры из моего прошлого, – это замечательное катание на собственном велосипеде.

Фронтовой подарок дяди Семёна

Младший брат моей мамы, тот самый, который пел у нас в доме, не испросив разрешения у генерала Гурьева, утверждал после войны, будто я спас ему жизнь. Случилось это, по его рассказу, так.



Семён Гурвич.

Когда его артиллерийский дивизион двигался уже по территории Германии, в одном разбитом домишке он обнаружил роскошный аккордеон. Забрал его, решив подарить любимому племяннику, то есть, мне. Аккордеон стоял неподалеку от дяди Семёна, когда в расположение артиллерийской батареи, которой он командовал, влетел снаряд (а может, то были мина), и разнес музыкальный инструмент в клочья. Не причинив увечий хозяину. Так излагал дядя то невероятное событие, поглаживая меня по голове, и приговаривая:

– Спаситель ты мой!

Взамен утраченного аккордеона дядя Семён привёз мне трофейный велосипед. Надо окатиться в том победном 1945 году, что бы понять, какое значение имел тогда для мальчишки такой подарок. Ни в нашем доме, ни на нашей улице в Раменском ни у кого не было велосипеда. Я в глазах пацанов стал несусветным богачом.

Это был мощный внедорожник, тяжеленная машина, с широкими шинами для езды по плохим дорогам. Практически у всех ребят, если взобраться на седло, ноги не доставали до педалей, поэтому приходилось кататься, скособочившись и просунув ногу в раму. Тяжело? Неудобно? Ага. Видели бы вы очередь, которую образовывали желающие прокатиться на «марёкином велике»! Для его хозяина не делали исключения, мне тоже приходилось вставать в очередь. Таковы были железные законы улицы. Владелец чего-либо и не позволяющий никому больше попользоваться заветным этим «чем-либо», объявлялся «жадобой», «жилой», с ним прекращали общаться, его презирали, не принимали в игры. Разумеется, мне и в голову не приходило стать «жадобой».

Можно только удивляться, как уцелел велосипед в руках моих сверстников – раменских неумех. Пацаны падали вместе с ним беспрерывно и где попадая, но продолжали по очереди осваивать навыки велоезды. Даже в той смешной и нелепой позе – нога сквозь раму – каждый чувствовал себя великим гонщиком или хотя бы мечтал им стать. Немецкая машина выдержала все наши издевательства, и служила мне до конца школьных лет. Именно на ней я участвовал в памятном мне велопробеге в Калининграде (Кёнигсберге).

Он проходил по бетонированному шоссе Кёнигсберг-Берлин «Берлин-штрассе», естественно, в пределах Калининградской области. Первое место, насколько помню, занял выпускник школы №21 Алексей Леонов, будущий космонавт. Я там пришёл, увы, ... предпоследним.

Чего же вы хотите: в те времена, а это был 1952 год, велосипеды перестали быть редкостью. Мой тяжеленный внедорожник выглядел среди других машин допотопным чудовищем. Почему же я пришел к финишу не последним, кто оказался позади меня? Последним посчитали мальчишку, сошедшего с дистанции.

Эти соревнования натолкнули на сюжет первого в жизни рассказа, который мы написали в соавторстве с моим одноклассником Борей Колесниковым. «Финиш» называлось сие произведение. Оно было опубликовано в областной газете «Калининградский комсомолец», и заняло второе место на ею объявленном конкурсе. Так что моя журналистская судьба начиналась с финиша! С лёгкой руки дяди Семёна, привёзшего мне с фронта немецкий внедорожник. И раз уж я заговорил о нём вновь, то чувствую себя обязанным рассказать о Семёне Борисовиче ещё одну историю. Дело в том, что на войну, точнее, на передовую, он попал после окончания артиллерийского училища в звании старшего лейтенанта. А закончил её в звании... старшего лейтенанта. Так не бывает, скажет любой, кто знает, с какой быстротой росли в званиях фронтовики. Что же он натворил, почему застрял на том, с чем пришёл на фронт? А вот что.

Накануне крупного наступления советских войск капитан Семён Гурвич получил приказ: занять со своей батареей скрытную позицию и ждать специального сигнала для открытия огня. Заняли. Стали скрытными. И что же вдруг открывается глазам командира батареи в утренних сумерках? По открытому полю, миновав немецкие позиции, возвращается наша дивизионная разведка. А фашисты, видно, их застукали, и накрывают огнём. Разведчики залегли, но жизни их, считай, кончаются – вот-вот миномётчики ударят по ним прицельно. И тогда капитан Гурвич не выдержал – ведь он знал всех этих ребят, не впервой они совершали рейды в тыл противника через батарею – по его приказу артиллеристы дали залп и подавили фашистские огневые точки. В результате этой «самодетельности» артподготовка перед наступлением началась раньше обозначенного командованием времени. Всего-то на несколько минут! Однако капитан Гурвич стал рядовым. Изначальное звание старлея вернулось к нему лишь к концу войны. Зато все 19 разведчиков были спасены.

Вы не замечали, что подарки, сделанные от души, порою порождают всяческие истории, окрашенные доброй улыбкой? Не всегда напрямую, иногда – опосредовано. Трофейный внедорожник дяди Семёна, как я уже говорил, натолкнул на сюжет первого рассказа, написанного мной вместе с одноклассником Борей Колесниковым.

Это наше первое печатное произведение мы нахально вклеили в тетради в качестве заданного домашнего сочинения на тему «В жизни всегда есть место подвигу».

И получили, к своему удивлению, по четвёрке! Попробовали «качать права», мол, нам за рассказ вручили премию в областной газете, а тут... Чудесная наша учительница русского языка и литературы Елена Сергеевна (если память не изменяет) пояснила:

– Балл снят за то, что сочинение написано не от руки.



Заслуженный шелчок по носу, увы, пользы молодым литераторам не принес, скромностью мы тогда не страдали.

Вторая история, связанная опять же с тем рассказом, произошла неожиданно. Я был в редакции «Калининградского комсомольца», как вдруг зав литотделом хватает меня за рукав:

– Слушай, звонит какой-то пожарный начальник по вашу с Борисом душу. Разыскивает авторов «Финиша».

Я взял трубку. Командирским голосом мне было доложено:

– С вами говорит начальник областного управления пожарной безопасности генерал (такой-то) ... Это вы написали про мальчика, который тушил возгорание на скотном дворе?

Отпираться не было смысла, хотя начало разговора не сулило, по моим ощущениям, ничего хорошего. Да, мы написали, как во время школьных соревнований по велокроссу лидер гонок, намного оторвавшийся от основной массы, вдруг увидел, что около дороги горит скотный двор. Он, не задумываясь, сошёл с дистанции, и бросился помогать колхозникам тушить пожар. Как же иначе мог поступить советский школьник, комсомолец?! Но свою верную победу он упустил. А когда мальчишка, по завершении борьбы с огнём, вышел со скотного двора, то увидел рядом со своим, лежащим на земле внедорожником – велосипеды всех участников соревнования. Такой вот советско-комсомольский финиш велопробега.

Чем же был взбудоражен главный пожарник Калининградской области, прочитав наш рассказ?

– Вы хорошо описали благородный и патриотичный поступок мальчика и его товарищей, отважно участвовавших в тушении возгорания на скотном дворе. Вам будет особая за это благодарность. Нами заготовлен приказ о награждении главного героя и поощрении остальных участников пожаротушения. Но вы не указали номер школы, где все они учатся. Не указан и адрес скотного двора, на котором произошло возгорание. Но это уже наша забота: выявить, где оно случилось, кто виноват, почему нас об этом не поставили в известность, даже если и справились с огнём своими силами.

– Так ведь это рассказ, – забормотал я растерянно, – литературный вымысел, так сказать... Игра воображения... Фантазия...

– Вы что же, всё это выдумали?! – изумился генерал. – У нас за ложную тревогу, знаете, что полагается?

Взаимопонимания мы не достигли. Выдуманные нами литературные герои (и их авторы) остались без вознаграждения калининградских пожарников.

Ну, а если бы немецкий снаряд-мина не уничтожил первоначальный подарок дяди Семёна? Я стал бы не велосипедистом, а музыкантом? Вряд ли. Хотя и были упорные мамыны происки в этом направлении – она мечтала, чтобы сыночек играл на музыкальных инструментах. Помнится, отвела меня к старенькой, седенькой преподавательнице на уроки фортепиано. Пару раз та, брезгливо морщась, заставляла меня, чумазея, мыть руки. А я, почувяв, что принесёт мне освобождение от музыкальной каторги, вновь и вновь являлся на урок грязнее трубочиста. Время было голодное, и несчастная преподавательница терпела, сколько могла, дабы не потерять заработок. Но, наконец, её интеллигентная натура не выдержала, и она выгнала меня.

На том мои муки не кончились. Кто-то из друзей нашей семьи, видимо, учитывая мамыны музыкальные планы-мечтания в отношении сынка, на день моего рождения поднёс скрипочку. Как обрадовалась мама: «Как раз то, что нужно. Специально для мальчика, на три четверти». Но рано она радовалась. Когда мы уже собрались было идти на занятия к скрипичному преподавателю, нам сообщили, что тот умер. Вот уж поистине, в духе чёрного юмора: узнал, кто набивается к нему в ученики и от ужаса скончался!

Последней мамыной музыкальной попыткой стало приглашение к нам в дом молодого пианиста. Это произошло уже не в Раменском, а в Калининграде, куда мы переехали, и где приобрели пианино. Но сей музыкант был замечен в ухажёрстве за мамой, и папаша спровадил его, к её огорчению и моей радости.

А ещё детские воспоминания уводят в село Раменского района, то ли Марфино, то ли Марьино, то ли и вовсе Софьино. Дело в том, что в послевоенные годы районных руководителей обязали шефствовать над колхозами и совхозами. Вот и прокурору Гаврилову выпало общественно-государственно-партийное поручение. В чём оно заключалось в деловом выражении – не знаю. Запомнилось богатое по тем голодным временам застолье, каковое устроил глава (то ли колхоза, то ли совхоза) в честь дорогого гостя-шефа с женой и сыном. Не помню тосты. Зато помню, как в разгар пиршества присутствующие дружно зашумели: «Просим Ивана Дмитриевича спеть!» И отец запел свою любимую:

Степь, да степь кругом,
Путь далёк лежит.
А во той степи
Замерзал ямщик.

А пел он, как я уже говорил, замечательно. У него был голос, напоминающий Ивана Козловского, в нем слышался металл. Репертуар весьма широкий, обычный для тенора. Любил он брать высокие звенящие ноты, что явно нравилось слушателям, а сам певец не скрывал любования голосом и его удивительными возможностями.

С этой деревней связан у меня и печальный эпизод. Я вышел во двор дома, где нас принимали, и приблизился к кудрявому пёсику с весёлой мордочкой, который, как мне показалось, был настроен игриво и хотел познакомиться со мной поближе. Но этому дружескому порыву мешала цепь, на которую он был посажен.

Я подошёл на достаточно близкое расстояние, и в тот же момент весёлый песик бросился на меня! Надо думать, целился он в горло, но в последнее мгновение я отшатнулся, и это спасло меня, маленького дурочка – зубы рванули за плечо. Так я и возник на пороге избы: зажав рваный укус рукой, из-под которой обильно текла кровь. Весь в слезах – не от боли, а от сознания предстоящей экзекуции – я сообщил хнычущим голосом маме:

– Я не виноват. Я её не трогал. Она сама куснула.

Взрослые засуетились. Меня перевязали и тут же отправились в город к врачам. Я отделался десятью болезненными уколами за науку: к собакам на цепи приближаться нельзя, обязательно кусают – у них служба такая. А вот для весёлого пёсика инцидент окончился куда печальнее – его пристрелили. Говорили, что он бросился на меня, потому что был заражён бешенством.

Другой случай, произошедший в том селе, можно смело назвать трагикомическим. В деревне имелся пруд. Помнится, в нём отец с местными рыбаками вылавливал бреднем карасей. Кто не знает, бредень – это сеть, растянутая на кольях, которую волокут бродом по мелководью, буквально сгребая ею рыбу даже со дна. А караси любят прятаться в придонную тину и взвесь. Улов всегда был отменный, а караси, зажаренные в сметане – просто объеденье!

В том же пруду купалась местная детвора. Увязался за ними и я. У них была в моде такая игра – брызгалка, с силой зачерпывая воду, посылать её в кого-нибудь. Но много не зачерпнёшь. И мне пришла в голову замечательная идея: я снял под водой трусики, и стал брызгаться, размахивая ими, как пращёй. Но недолго продолжалось торжество моей изобретательской мысли. Мокрые, а посему скользкие трусики неожиданно выскользнули из моей руки, да и улетели неведомо куда. Сельские ребяташки поначалу просто завидовали такой предприимчивости городского мальчишки, обретшего столь эффективное и грозное оружие для водной баталии. А когда я внезапно стал «безоружным», долго надо мной потешались, представляя, как придётся мне голышом плестись в избу, где нас приютили.

Уже посинелого от долгого пребывания в воде меня оттуда извлекла мама, обернув любимого сыночка полотенцем. Трусы стали чьим-то сувениром, а уровень мелкого того пруда, повысился от моих обильных слёз и соплей.

Прокурорша

Мую маму в Раменском и уважали, и побаивались. Мужчины при общении с этой молодой, вызывающе красивой женщиной заметно балдели. А представительницы прекрасного пола становились подругами, почитательницами или тайными завистницами.



Анна Борисовна Гаврилова.

О том, что сказала, что сделала «прокурорша», тут же становилось известным, обсуждалось во всем городе. Анна Борисовна Гаврилова резко выделялась из среды жён ответработников, к ней шли за советом, у неё искали поддержки. Она дружила с матерью всесильного секре-

таря ЦК КПСС Георгия Максимилиановича Маленкова (считавшегося преемником Сталина) Анастасией Георгиевной. Ездил к ней, по-моему, в Кратово, где та жила то ли на даче, то ли в каком-то доме отдыха для членов правительства и их семей. В те времена такие приятельские отношения с сильными мира сего лучше всего поднимали авторитет в глазах окружающих. Ведь все понимали: прокурорша могла «замолвить словечко» там, где надо, и куда простому люду не дотянуться. Впрочем, и нынче, да и всегда доступность к владеющим «рычагами власти» ценилась весьма высоко.

Но все же не только из-за подобных связей преклонялись перед Анной Борисовной жители Раменского. Вряд ли они знали, что она занимала призовые места на среднеазиатских соревнованиях по стрельбе и конной выезде, что она, будучи на Памире, довольно прилично играла в русский хоккей. И то, как она силой воли и духа выжила в холод и голод эвакуации, и сберегла своего старшего сына, потеряв младшего. Зато из уст в уста переходила такая, приключившаяся с ней криминальная история.

Мама регулярно ездила в Москву – к собственным родственникам, и к родным мужа. Возвращалась, обычно, поздней ночью. Я уже говорил о том, что Раменское буквально кишело уголовниками. Но ее это не пугало и не останавливало. В пустой электричке далеко за полночь к одинокой пассажирке стал приглядываться какой-то малый. Кепарь, чубчик, фикса, прохоря, руки в наколках – всё чин-чинарём, полный набор внешних признаков уголовника.

Вышли вместе на конечной остановке – в Раменском. В электричке малый братья за дело не стал, ибо знал, видимо, что там ходит из вагона в вагон милицейский патруль. «Опытный», – решила мама, и стала ждать развития событий. Малый догнал её и вынул нож:

– Жить хочешь? Давай деньги и бирюльки!

Мама сунула руку в карман, оттопырила его, наставив скрытое в кармане дуло:

– Нож брось. Стреляю без предупреждения.

Грабитель бросил нож. Мама привела его в отделение милиции при станции, и сказала несколько удивлённому этим явлением дежурному:

– Берите голубчика.

А затем вынула из кармана руку с взведённым пальцем, изображавшим наган, и со смешком бросила бандитунеудачнику:

– Пу, дурашлёт!

Надо ли говорить, что на следующий день весь город гудел? «Слыхали: прокурорша повязала вооружённого бандита?» «Он на неё автомат наставил... А она, раз-два, и обезоружила!» Слухи множились.

Особенно возрос её авторитет, когда в Раменское прибыл эшелон с эвакуированными, возвращающимися туда, где они раньше жили. Женщины, дети и старики – по большей части оборванные и все поголовно с голодным блеском глаз. Мама организовала сбор средств и еды для этих несчастных, она ведь хорошо запомнила, как её с отощавшим и больным сыном спасал от голода и хворей майор Барсуков на обратном пути домой.

Прибавляло ей популярности и то обстоятельство, что у нас бывали в доме и угощались многие гастролёры, выступавшие во Дворце культуры ткацкой фабрики «Красное знамя». Я запомнил двух: солиста Большого театра Пасечника и тещи- пародиста Владимира Хенкина. Чуть визгливый голос последнего, читавшего рассказы Михаила Зощенко, мне слышится до сих пор.

И ещё эпизод, особенно поразивший моё детское воображение.

В Раменском районе расположен ипподром. Мама частенько бывала там, с отцом или одна. Она ведь была отчаянной наездницей, страстно любила лошадей и в бытность в Средней Азии с большим удовольствием участвовала в конных соревнованиях и на бегах. Как-то на Раменский ипподром наведалься Семён Михайлович Будённый. Мама познакомилась с «первым конником» Страны Советов, горячо обсуждала с ним лошадиные проблемы.

Но меня поразил не сам факт явления фанатам ипподромных игрищ Семёна Будённого, а то, что заслуженный кавалерист, кумир молодёжи, герой Гражданской войны, командовавший легендарной 1-й Конной армией, кормил понравившегося ему жеребца... печеньем. Это когда и хлеба-то вдоволь не всем гражданам хватало.

Семейство Коганов

Именно к ним, Коганам, постоянно ездила в Москву моя мама. Глава семьи, почтенный дядя Яков (сколько помню себя, его так называли все, хотя, вообще-то, мне он приходился двоюродным дедом), тот самый, что с родным моим дедом Берлом и босяком Шмулем делали революцию в Койданове, был женат на Сарубейле, сестре моей бабушки Двойры.

В памяти отложилось имя Сарубейля, хотя все звали её тётёй Соней, я, в том числе. Вдруг стало любопытно: что это за имечко такое, экзотическое. Сунулся в энциклопедию еврейских женских имён. Батюшки-светы! По-видимому, у неё было двойное, составное имя: Сара-Бейла.



Сарубейля и её дочь Галя.

И как это родители угадывают будущность ребёнка! Ну, положим, Бейла—это на идиш красивая, угадать было не трудно – девочка родилась именно красивой. Но Сара – это властительница, а почём было знать папаше и мамаше, что вырастёт их дитё царственно властной женщиной?!

Однако, и с именем второй дочери тоже угадали – Двора – это пчела, а дорогая, Дора Калмановна была хозяйственна, именно как пчёлка. И, наконец, Хана, любимая мама, это опять же – приятная, красивая. Кто ж с этим поспорит!

Коганы жили в Москве на Переяславке – в конце Большой Переяславской улицы, одном из самых бандитских уголков столицы. Так об этом местечке толковали во время войны. И ничего, патриархальная еврейская семья вполне уютно уживалась рядом с воровскими притонами. Дядя Яков читал большевистскую газету «Правда», тётя Соня, не очень-то прячась, приторговывала сахарином. В те времена, когда большинству советских граждан зачастую приходилось пить чай «вприглядку», сахарин являлся достойным и доступным по цене суррогатом сладостей. Трудно представить сейчас, что тогдашние ребяташки, получая только на Новый год, 1 мая и 7 ноября в так называемых праздничных подарках по несколько карамелек, были вне себя от радости.



Семейство Коганов: Галя, отец Яков, Арон, Циля, Рая, Лёва. И сестра их матери Сарубейли – Дора Гурвич.



Раиса Яковлевна.

Было бы заблуждением думать, что сахариновый шахер-махер был вынужденным промыслом, позволявшим большому семейству Коганов оставаться в тяжёлую годину наплаву. «А что вы хотите? – сказала бы тётя Соня, – Да, две старшие дочери, чтоб у них всё было хорошо, выбились в люди, стали врачами. Да, старший сын, дай бог ему здоровья, добил-таки учёбу, и работает адвокатом. Но материнское сердце, разве не болит, видя, как они живут на свои, кровно заработанные копейки? А младшим, что – не надо кусок хлеба с маслом?». Итак, приглядимся к ним поближе.

Старшая дочь, Раиса Яковлевна – самая правильная, самая советская натура в этом, ну, скажем, не совсем праведном, по меркам Страны Советов, семействе. Она была прекрасным врачом, и дослужилась, кажется, до главврача клиники, в которой проработала всю трудовую жизнь.

Долгие годы после выхода на пенсию её навещали сослуживцы, бывшие подчинённые. Это дорогого стоит. А вот личная жизнь её, можно считать, не очень удалась. Первый муж, горячо любимый ею, красавец, аккордеонист, душа общества, любимец всех Коганов, рано умер. Дочь, Ирочка, получилась фигуристой красивой девушкой. Одно время родственники со всех сторон усиленно пытались нас поженить. Но мне, тогдашнему студенту ВГИКа она казалась недалёкой мещанкой, «тряпичницей». Да, и она, по-моему, не испытывала ко мне нежных чувств. Пожалуй, единственное, что у нас и было общего – это день рождения – мы родились 1 января. Я в 1936, Ира в 1938 году. Так что мы – козероги.

Казалось бы, хоть с дочкой Раисе Яковлевне повезло: видная девочка, школу закончила медалисткой, поклонников – длинный хвост. Ан, и тут облом: любимая Ирочка умотала в Соединённые Штаты Америки. Правда, устроилась там более чем прекрасно. Удачно вышла вторично замуж, каким-то невероятным путём попала, ни хухры-мухры, в служащие Госдепартамента США. Помню, как она приехала к матери на побывку, вся такая заграничная из себя, расфуфыренная, штатовская, одним словом.

– Марик, – кричала она через стол, за которым, помимо меня, сидели и пировали в честь приезда Ирочки близкие родственники, – Марик, у тебя есть хоть один доллар в кармане? А у меня их три тысячи на карманные расходы... Марик, тебя могут выгнать из твоей газетки в два счёта и в любой момент. А меня, служащую Госдепартамента, не могут уволить по-жизнен-но! До самой пенсии! Понял Марик! Наш Рони самый замечательный президент, я его называю Рони, и ничего не боюсь. А ты можешь своего Михал Сергеича назвать Горби? Да тебя тут же с треском вышибут с работы и из партии.

Почему-то хорошо запомнились её слова, а мои горячие возражения затерялись в глубинах памяти...

Много позже, когда я однажды позвонил тёте Рае, она мне сообщила, что у неё гостит Ирочка. К тому времени заокеанская моя двоюродная сестричка потеряла и американского

мужа, и единственного сына, и наконец-то, вышла на ту самую пенсию, на которую её имели право отправить взамен увольнения.

– Ты хочешь с ней поговорить? – спросила Раиса Яковлевна.



Ира.

Не успел я ответить, как услышал громкий, испуганный шёпот Иры:

– Ну, мама, зачем мне с ним говорить?

Мать всё-таки всучила ей телефонную трубку, и мы обменялись ничего не значащими, ни к чему не обязывающими фразами. Подумав, я вспомнил, как эта служащая Госдепартамента, когда отношения между нашими странами покрылись инеем, канули в прошлое и Рони, и Горби, упорно избегала общения со мной, даже не давая своего электронного адреса и не желая потолковать по скайпу. Ах ты, верноподданная американка! Даже на пенсии она не хотела, чтобы её заподозрили в связи с российским журналистом.

Теперь черёд средней дочери Коганов.

Красивая женщина. Когда они вдвоём – Анна Гаврилова, моя мать, и Галя Коган, моя тётя, шикарно одетые, в обалденных шляпках, в перчатках по локоть, шли по Москве, «вся улица на них заглядывалась».



Галя и Анна.

Она была зубным врачом. По разговорам, отличным зубником. Но при моих постоянных проблемах с зубами, я даже и не помыслил забраться в её зубоврачебное кресло. Так и поведёргивали мои зубья, равнодушные к улыбкам и оскалу моего рта, чужие стоматологи.

Вот ведь, как интересно, стоит она перед глазами, эта Галина Яковлевна, тётя Галя, а сказать о ней что-то выдающееся не могу, не помню. Так что, плавно перейду к старшему сыну Коганов, Арону. О нём, впрочем, тоже особенно не очень-то много могу сообщить. Знал я только, что он хорошо был устроен в жизни. Получил высшее юридическое образование. И почему это евреи всё больше по медицинской или юридической части пристраиваются?! Во время войны каким-то образом избежал призыва, хотя на здоровье, кажется, не мог пожаловаться. Его младший брат Лёва тогда ещё приставал к нему, как правило, при посторонних:



Лёва Коган.

– Арончик, пойдешь на фронт, убей хотя бы одного немца. Война сразу кончится.

– Молчи, дурак, – шипел Арон.

Видимо, адвокатом он был хорошим, во всяком случае, сумел купить большую кооперативную квартиру в центре города. Однако, когда сыны израилевы потянулись на Землю обетованную, Арон покинул СССР.

Самое поразительное, что эта, типично еврейская, семья совершенно органично вписалась в криминогенный район. Более того, младшая дочь, Циля, была и вовсе своей на все сто среди уркаганов, она даже имела в этой среде кликуху – «Цилька Лаковые Сапожки». Я об этом с изумлением узнал, когда она, уже замужняя матрона, взяла меня на вечерок, где собрались на бывшей «малине» бывшие уголовнички.

Ну, и публика там собралась! Карманник, домушник, щипач, фарцовщик, катала... Запомнился лысоватый, совершенно квадратный человек с выпученными зенками, кандидат каких-то наук, доцент столичного технического вуза.

Циля мне пошептала: «В большом порядке был человек. Он – медвежатник, сейфы, как консервные банки потрошил. И кликуха у него была подходящая – Шпрот».

Собравшиеся попили водочки, закусывая селедкой, картошкой, сваренной в мундире, черняшкой. Попели блатные песни. Покопались в былом и прошлом. «А помнишь, как Васька надрался в лоскуты!» «Не забыл, как мороженым облопались до ангины!» Любопытно и странно: о криминальных своих похождениях и подвигах практически никто даже не упоминал. Однажды только кто-то, захмелевший, произнёс с мечтательной тоской – «А помнишь, как наш катала обштопал залётного каталу?» И тут же его урезонили: «Ну, зачем об этом?».



Циля.

Между прочим, Циля была единственной женщиной на этом сборище воров и громил, перековавшихся с годами в законопослушных советских граждан. Относились к ней с «суровой мужской нежностью». Как и в прошлом. А собирались они один раз в год, в какую-то дорогую им всем дату, не для воспоминаний об воровских приключениях, а чтобы увидеться с друзьями такой непутёвой, но такой замечательной поры – юности. Встретиться. Поболтать. О нынешнем житье-бытье, о семейных заботах, неурядицах на работе, о «сволочуге начальнике», о детях, которые «достали своими запросами»...

А ещё Циля повела меня на свадьбу. Еврейскую. Это нечто! Вообразите себе ГУМ, когда туда во времена всеобщего дефицита «выбросили» копчёную колбасу. Плохо представляете? А подземный переход на станцию метро «Охотный ряд» в час пик? Опять не ощущаете себя сдавленным со всех сторон так, что глаза у вас вот-вот выскочат из орбит? Нет. Не жили тогда. Не доводилось. Ну, что с вами поделаешь! Тогда милости прошу в малогабаритную московскую квартиру, куда непонятным образом набилось не меньше ста человек. Старающихся перекричать друг друга. Отчаянно размахивающих руками. Вот, подыскал подходящее сравнение: так выглядел революционный Смольный накануне Октябрьского переворота. Опять не угадал? Тогда скажу проще: теснее было только сельдам в бочке.

В этой невообразимой толчее, суматохе и всеобщей неразберихе моя проводница Циля ухитрилась добраться до жениха и невесты. Они стояли в центре толпы, пунцовые от волнения и невероятной жары и духоты. С перепуганными физиономиями. По-моему, плохо понимая, что вокруг происходит. А рядом суетился старичок в талесе и тюбетейке. Он отчаянно взывал довольно зычным голосом:

– Дайте же, наконец, что-нибудь на голову молодых! В этом доме найдётся какая-нибудь трапка?!

Окружающие совали ему носовые платки, видимо полагая, что он собирается обтереть вспотевших жениха и невесту. Но старичок – это был раввин – сердито отвергал такие подношения. Наконец, принесли «трапку» – кусок материи, похожий на детскую простынку. Четверо рослых дружка жениха, слушаясь указаний раввина, ухватились за концы этого импровизированного полога, и растянули его над головами молодых. Получился балдахин. Старичок тотчас успокоился и стал неожиданно мощным, перекрывающим многоголосый гвалт, дискантом читать полагающийся молебен.

Можно было бы, наверное, сравнить сие действо с первомайской демонстрацией в сумасшедшем доме. У всех присутствовавших были совершенно счастливые лица, свидетельствовавшие, что еврейская свадьба идёт по всем многовековым канонам.

О Циле можно было бы прибавить, что вышла замуж она по любви за парня из криминальной среды. Кончил тот свою непутёвую жизнь плохо: его, по слухам, арестовали за какие-то дела, в отделении милиции допрашивали «с пристрастием», а потом выбросили на улицу. Его, мёртвого, обнаружили случайные прохожие. В морге мастера своего дела заgrimировали ссадины и кровоподтёки. В гробу покойный выглядел вполне достойно. Цилины дети различались по характеру. Старший сын – Витька пошёл, пожалуй, в бабку, в нём прорезалась торговая жилка. Он выбился в директора магазина. А младший – Аркашка унаследовал папашин залихватский характер, вырос хулиганом и шалопаем.

Я подозреваю, что моя мама регулярно навещалась к Коганам не только из-за родственной привязанности. В Москве, в конце концов, жил старший её брат Аркадий с женой и сыном, каковых она не очень-то баловала визитами. Тут, в этих поездках из Раменского в столицу, наверное, укрываются таинственные взаимоотношения с тётей Соней (уж буду называть её так, как привык в юности) на почве бытового предпринимательства. Не исключены торговые операции с сахарином, а может быть, они занимались и более серьёзными делишками. На эту мысль наводит эпизод, приключившийся в Минске, ещё до окончания войны.

Чего нас занесло туда – маму, тётю Соню и меня, семилетнего мальчишку – не могу сказать. Да только помню: было жарко, меня на улицу не пускали, я томился в чьём-то доме. А взрослые сидели за столом и что-то обсуждали. Как вдруг под окном послышались голоса, мама с тётей выглянули наружу, и почему-то засуетились – это я хорошо запомнил. Затем произошло нечто, удивившее меня, а посему тоже отложившееся в памяти. Мама сказала:

– Маричек, сыночек, иди погуляй на улицу, поиграй в песочнице.

А тётя добавила:

– Вот тебе монетки, можешь поиграть ими. Только не потеряй.

Надели курточку – это в жару-то – и ссыпали в карманы большие пяточки. Они были тусклого жёлтого цвета. Меня выпроводили через чёрный ход на задний двор, где я и принялся играть в «расшибалочку» этими крупными монетками. Тогда я не отметил, что они сильно отличались от обычных пятак. Позже меня отвели домой. Монетки забрали.

Несколько лет спустя, когда я припомнил этот малопонятный эпизод, мама рассмеялась:

– «Пяточки», глупенький, были золотыми монетами. В тот день к нам наведальась милиция. Для проверки документов. Тогда их часто проверяли. Вот и отправили тебя с «монетками» подальше от посторонних любопытных глаз...

Думаю, и в Москве тётя Соня с мамой продолжали тайные «игры» с теми жёлтыми кружочками. Знал ли об этом мой отец, прокурор Гаврилов? Вряд ли. Правда, ему пришлось однажды поучаствовать в криминальной истории, приключившейся в семействе Коганов. Влипла-таки со своими дружбанами ЦиляЦилька-Лаковые Сапожки. То ли её, стоявшую на стрёме, «замели мусора», то ли взяли на реализации ворованного барахла. Родня побегала на поклон к прокурору Гаврилову. Кстати, как ни странно, вся многочисленная мамина родня очень его уважала. За выдержанный нрав, немногословность, за верность данному слову. Уж какие-такие связи в столичных правоохранительных органах он использовал – бог весть. Но в результате его хлопот Цилька-шалава выскочила из КПЗ, как ни в чём не виноватая. Хотя, подозреваю, грозил девушке реальный тюремный срок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.